

КРИСТОФЕР ГАРСИЯ

ГОЛОС ИЗ АРХИВА ТАЙНАЯ БИОГРАФИЯ БОРЦА СО СВОБОДОЙ



Голос из архива.

Тайная биография борца со свободой

Кристофер Гарсия

Данное издание представляет собой документально-аналитическую и правозащитную работу, основанную на открытых источниках, включая опубликованные документы, судебные акты, публичные заявления, сообщения СМИ, научные публикации и иные материалы, доступные на момент подготовки текста. Автор не ставит целью унижение чести, достоинства или деловой репутации каких-либо лиц и организаций.

Оглавление

Пролог

Глава 1. Цветы на асфальте: великий побег в никуда

Глава 2. Плёнка, которой не должно было быть

Глава 3. Бегство как способ жизни

Глава 4. Америка — начало перезапуска

Глава 5. Человек, который начал судить других

Источники

Пролог

Свобода, которая пошла не туда.

Мне почти тридцать, и в последние годы я все чаще ловлю себя на простой мысли: мир много говорит о свободе, но на деле свободы действия в нем остается не так уж много. Почти каждый сегодня зависит от чего-то: от денег, репутации, среды, страха, семьи, государства — в конце концов, от собственного прошлого. Даже там, где кажется, что выбор есть, очень часто он оказывается заранее очерчен. Наверное, именно поэтому меня и начала всерьез занимать история свободы — не как красивой идеи, а как человеческого опыта. Хотелось понять, как люди в другое время представляли себе свободу, что именно они искали, когда пытались выйти за пределы нормальной, разрешенной, одобренной жизни.

Так я довольно быстро оказался в теме хиппи. Особенно сильно меня заинтересовал позднесоветский опыт — та странная и противоречивая среда, в которой свобода ощущалась не как политический лозунг, а как личный жест: длинные волосы, автостоп, бегство из дома, разрыв с ожиданиями родителей, отказ жить по уже написанному сценарию.

О движении хиппи написано очень много, и почти всегда его история подается по одной из двух схем. Либо это романтический миф о детях свободы, отвергших ложь мира взрослых. Либо, наоборот, история о том, как поиск освобождения быстро перешел в наркотики, распад, безответственность и внутреннюю пустоту. Мне было интересно докопаться до сути, а не найти готовую оценку или выбор между двумя удобными легендами. Мне хотелось увидеть сам переход. Тот момент, когда движение, возникавшее со знаком плюс, как протест против принуждения и лицемерия, начинает терять внутреннюю опору и постепенно меняет свой знак.

Я понял, что в самом начале в этой истории действительно было нечто подлинное. Желание жить не по команде. Отказ от казенной нормы. Попытка выйти из мира, где за тебя уже решено, каким ты должен быть. Но такая свобода быстро сталкивается с человеческой слабостью, с неготовностью нести ее вес, с соблазном принять отсутствие внешнего контроля за внутреннюю зрелость. Там, где вчера был поиск, сегодня может

начаться распад. Там, где вчера был отказ от лжи, завтра может появиться новая ложь — только уже от имени свободы.

Чем больше я читал об этом, тем яснее становилось, что без понимания таких процессов трудно понять и настоящее. История не дает готовых ответов, но она позволяет увидеть форму происходящего. Если внимательно всматриваться в прошлое, можно лучше понять, что происходит сейчас, а иногда и почувствовать, в какую сторону все движется дальше.

Я думал, что изучаю историю позднесоветской свободы и ее постепенного перерождения. Неожиданно оказалось, что эта история сама вывела меня на человека, в чьей биографии оба полюса — поиск свободы и ее последующее пресечение — сошлись с почти четкой точностью.

Все началось с архивной записи. Точнее, сначала — с ее следа: транскрипта интервью, сделанного в Соединенных Штатах в 1979 году в рамках проекта о недавних советских эмигрантах. Внешне это был обычный документ такого рода: молодой человек, только что покинувший Советский Союз, рассказывает о своем прошлом, о среде, в которой жил. Таких материалов в архивах немало и обычно они интересны как фон эпохи.

Но этот текст с самого начала звучал иначе. Его внутреннее напряжение было слишком неустойчивый, чтобы пройти мимо него как мимо обычного свидетельства. Он не говорил как человек, который уже знает, как нужно рассказывать о себе, чтобы сохранить выгодный образ. Напротив, в этом тексте было слишком много того, что позже обычно сглаживают, оправдывают, литературно перерабатывают или просто убирают.

Я еще не подозревал, кем окажется этот собеседник 1979 года. Сначала для меня это был просто молодой эмигрант, один из тех, кто когда-то хотел свободы и пытался ее найти в мире, где свобода легко смешивалась с распадом. Чем дальше я читал, тем сильнее ощущал необычное, почти невероятное несоответствие между этим ранним «голосом» и той публичной личностью, которая проявится позже.

Лишь со временем я по имени смог понять, почему что-то словно подсказывало мне особое значение этой записи. Несовпадение стало для меня тем самым моментом

озарения, которого не ждешь заранее. Иногда архив не просто добавляет одну деталь к уже известной биографии, он ломает весь порядок восприятия.

Именно в этот момент стало ясно, что передо мной не просто еще один молодой эмигрант конца семидесятых. Этот голос — нервный, неустойчивый, погруженный в маргинальную среду, говорящий о психиатрии, наркотиках и постоянном бегстве — принадлежал человеку, который позже станет фигурой прямо противоположного типа.

Это был Александр Дворкин.

Имя, которое в более позднем контексте связано с жесткой системой оценок, с претензией на моральное различие и право говорить о других как об объекте анализа и диагноза.

Разрыв между этим ранним «голосом» и поздней публичной фигурой оказался не просто заметным — он оказался принципиальным. И именно этот разрыв стал отправной точкой всей работы.

Я понял, каким именно будет мой следующий шаг. Мне нужно понять этот «голос», увидеть его корни, вернуться туда, где все только начиналось: в детство, в семью, в школу и ранние способы защиты от мира.

Глава 1. Цветы на асфальте: великий побег в никуда

Бегство никогда не бывает просто перемещением в пространстве; это всегда попытка выпрыгнуть из собственной кожи, которую навязали нам предки, школа, государство и сама логика истории. В середине шестидесятых годов двадцатого века это бегство приняло масштаб культурной эпидемии, когда целое поколение, выпестованное в стерильных условиях послевоенного консерватизма, вдруг осознало, что их уютные дома — это всего лишь комфортабельные камеры, а карьерные лестницы ведут в пустоту офисного небытия.

Хиппи не просто возникли из ниоткуда; они стали закономерным продолжением того глухого, прокуренного ропота, который издавали битники в пятидесятых. Но если битники — Керуак, Гинзберг, Берроуз — были интеллектуальными отшельниками, предпочитавшими ночной джаз и темные углы подвальных кафе, то хиппи вывели этот протест под палящее солнце, раскрасив его во все цвета радуги и превратив индивидуальное дезертирство в коллективный исход.

Переход от бит-поколения к «детям цветов» был отмечен сменой знака с негативного на позитивный. Битники бежали «от» — от скуки, от атомной бомбы, от «человека в сером фланелевом костюме». Хиппи же декларировали, что они бегут «к» — к подлинности, к безусловной любви, к новому эдему, где не будет насилия, собственности и иерархий. Это было время великих иллюзий, когда казалось, что достаточно вплести цветок в волосы и отказаться от материального стяжательства, чтобы мир изменился сам собой. В этом поиске подлинности была своя трагическая красота: молодые люди из обеспеченных семей внезапно обнаруживали, что их «американская мечта» пахнет нафталином и фальшью, и бросались в объятия добровольной бедности, веря, что именно в ней скрыта истина.

Эпицентром этого тектонического сдвига стал Сан-Франциско, а точнее — район Хейт-Эшбери. Именно здесь идея на короткое время обрела плоть и кровь. В середине шестидесятых Хейт не был похож на туристическую открытку, которой он стал позже; это был живой центр духа.

Одной из ключевых фигур этого времени стал Кен Кизи, автор, уже вкусивший славы после выхода «Пролетая над гнездом кукушки». Кизи, однако, не желал почивать на лаврах литератора; он хотел стать строителем новой реальности. Его группа, называвшая себя «Веселыми проказниками», и их легендарные «Кислотные тесты» представляли собой нечто гораздо большее, чем просто массовое употребление психоделических веществ. Это был поиск новой формы коммуникации, не ограниченной словами, которые хиппи считали инструментом манипуляции.

Параллельно с психоделическими экспериментами Кизи, в Хейт-Эшбери действовала группа «Диггеры», назвавшая себя в честь английских радикалов семнадцатого века. Они пошли еще дальше, пытаясь построить общество, полностью свободное от денег. Диггеры раздавали бесплатную еду, содержали «Свободный

магазин», где любой мог взять то, что ему нужно, и устраивали перформансы, высмеивающие саму суть капиталистических отношений. Это был период «позитивного знака», когда движение питалось искренним идеализмом и верой в то, что человеческая природа по сути своей добра и нуждается лишь в освобождении от социальных оков.

Переломным моментом стало «Лето любви» 1967 года. То, что задумывалось как праздник единения и духовного прорыва, обернулось катастрофой под софитами мировых СМИ. Когда журнал TIME вывел хиппи на обложку, а Newsweek и другие издания сделали Хейт-Эшбери национальной сенсацией, а радиостанции начали крутить гимн Скотта Маккензи о Сан-Франциско, в Хейт-Эшбери хлынул поток тех, кого позже назовут «пластиковыми хиппи». Это были десятки тысяч, а за лето — до ста тысяч подростков и молодых людей, бежавших из дома не всегда в поисках космической истины или альтернативного социального устройства, а часто просто в поисках легкого секса, бесплатных наркотиков и возможности уйти от любой ответственности.

Массовость мгновенно убила уникальность. Те, кто стоял у истоков движения, те, кто читал восточных философов и практиковал глубокую медитацию, оказались погребены под лавиной дезертиров из пригородов. Для этих неофитов «свобода» означала лишь отсутствие запретов. В районе, рассчитанном на несколько тысяч жителей, внезапно оказались сосредоточены огромные толпы людей без средств к существованию и элементарных гигиенических навыков. Хейт-Эшбери из интеллектуального оазиса превратился в гетто, где идеалы братства разбивались о суровую реальность нехватки ресурсов и антисанитарии.

Уже к осени 1967 года основатели движения устроили символические похороны «Хиппи — верного сына медиа», понимая, что дух покинул эту форму, оставив лишь пустую оболочку.

Вместе с деградацией социального пространства произошла и деградация химическая. На смену «расширяющему сознание» ЛСД все заметнее приходили тяжелые, убивающие волю вещества — героин и амфетамины. Героин стал инструментом окончательного побега, дверью, за которой не было ничего, кроме холодного забытья. Вчерашние искатели истины превращались в зомби, а улицы, еще недавно оглашавшиеся песнями о мире и любви, стали территорией криминала.

Наркодилеры, не имевшие ничего общего с идеалами «детей цветов», быстро поняли, что на бесконтрольной толпе подростков можно сделать огромные деньги.

Свобода, лишенная внутреннего стержня и дисциплины духа, предсказуемо превратилась во вседозволенность, а затем — в саморазрушение. Именно здесь возникла встречная реакция со стороны окружающего мира. Родителям не нравится, что дети хотят слишком много свободы. Учителям не нравится, что ими невозможно управлять. Государству не нравится все, что не укладывается в понятный порядок. Так появляется сначала страх, а потом желание не спорить, не понимать и не разбираться, а вернуть человека обратно, причем любым способом. Силой. Изоляцией. Давлением. Позднее, уже в антикультовой среде начала 1970-х годов, из этой логики вырастет «депрограммирование» — идея, что человека можно и нужно «спасать» против его воли.

Психологический разбор падения движения обнаруживает определенную закономерность. Люди, провозглашавшие отказ от насилия и власти, оказывались беззащитны перед внутренними демонами. Отрицание традиционной морали и семейных уз создало пробел, который стремительно заполнялся самыми примитивными и жестокими формами доминирования.

Именно здесь кроется разгадка того, почему движение за «всеобщую любовь» породило таких чудовищ, как Чарльз Мэнсон. Он стал темным двойником Кена Кизи, используя ту же терминологию свободы, общинной жизни и психоделического опыта, Мэнсон создал «Семью», которая стала идеальным инструментом подавления. Убийства, совершенные «Семьей» в августе 1969 года, включая расправу над беременной Шэрон Тейт, стали кровавым финалом иллюзии о том, что отказ от социальных норм автоматически делает человека ангелом. Мэнсон доказал, что «любовь», лишенная этического фундамента, может легко обернуться чистым, дистиллированным злом.

Окончательную точку в эпохе невинности поставил рок-фестиваль в Альтамонте в декабре того же года. Задуманный как «Вудсток Западного побережья», он превратился в кровавый хаос. Решение организаторов концерта допустить байкеров из мотоклуба «Ангелы ада» в качестве охраны было высшим проявлением той самой наивности, которая погубила хиппи. Идея, что криминальная субкультура может гармонично

сосуществовать с пацифистами, привела к тому, что под музыку Under My Thumb байкеры зарезали молодого человека прямо перед сценой. Это было наглядное пособие по краху контркультуры: насилие, от которого они бежали, вернулось к ним в самом уродливом виде, причем они сами пригласили его за свой стол.

Парадокс движения хиппи заключается еще и в том, как именно система, против которой они столь яростно восставали, в итоге расправилась с ними. Капитализм не стал сражаться с хиппи на баррикадах; он просто превратил их протест в товар. Бунт стал стилем, а стремление к свободе — маркетинговой стратегией. Те самые джинсы-клеш, фенечки и длинные волосы, которые когда-то были маркером опасного инакомыслия, вскоре появились на витринах дорогих бутиков. «Flower Power» превратилась в дизайн для оберточной бумаги. Дух был выхолощен, а форма — коммерциализирована и продана обратно тем же самым людям, которые считали себя революционерами. Побег от материализма закончился в очереди за новой пластинкой или дизайнерской курткой в стиле «бохо-шик».

Но самый глубокий, почти экзистенциальный парадокс открывается при изучении судеб отдельных участников этого грандиозного эксперимента. Наблюдая за теми, кто прошел через горнило коммун шестидесятых, исследователи могут заметить странную трансформацию. Люди, искавшие абсолютной свободы и отрицавшие любые формы принуждения, спустя десятилетия иногда превращались в самых жестких контролеров, идеологов подавления и создателей закрытых систем.

Психологический механизм здесь прост и страшен. Внутренняя пустота, образовавшаяся после краха психоделических утопий, требовала заполнения чем-то твердым, незыблемым и авторитарным. Это история о том, как бегство от внешнего контроля приводит к созданию внутреннего концлагеря. Некоторые бывшие хиппи, не нашедшие истины в наркотическом тумане или свободной любви, позже стали фанатичными адептами новых, крайне жестких идеологий. Они сменили разноцветные тряпки на строгие костюмы или монашеские рясы, но сохранили ту же неутоленную жажду радикального разрыва с реальностью. Их неспособность жить в сложном, несовершенном мире, требующем компромиссов и личной ответственности, гнала их из одной крайности в другую.

Этот исторический и психологический ландшафт был бы неполным без понимания того, как идеи «расширения сознания» и борьбы с «системой» могут быть адаптированы в условиях совершенно иной культуры. Когда волна хиппи докатилась до берегов других стран, она причудливо смешалась с местными поисками идентичности, порождая порой самых неожиданных персонажей. Одни видели в этом лишь эстетику, другие — способ ухода от давления тоталитарного государства, а третьи — поле для будущей профессиональной деятельности по «спасению» тех, кто запутался в сетях этих самых движений.

Среди тех, кто внимательно вглядывался в этот распадающийся мир, кто на собственном опыте ощутил притягательность и опасность тотального бегства, был молодой человек, чей путь в итоге привел его к роли самого известного борца с новыми религиозными движениями на постсоветском пространстве. Он смотрел на хиппи не просто как историк, а как человек, знающий цену этой «свободы» изнутри, понимающий, как легко цветы на асфальте превращаются в колючую проволоку идеологического гетто.

Глава 2. Плёнка, которой не должно было быть

Архивы редко производят сильное впечатление с первой страницы. Обычно они требуют терпения, потому что это язык работы других людей, системы хранения, чужих описаний, в которых живая человеческая интонация прячется за формой. Но иногда случается иначе. За сухой библиотечной записью вдруг обнаруживается «голос», который звучит слишком отчетливо, чтобы его можно было принять просто за фон эпохи. Так произошло и здесь.

Передо мной был транскрипт интервью, проведенного в июне 1979 года в США в рамках проекта о недавних советских эмигрантах. Интервьюер — Линн Виссон.

Собеседник — молодой человек из Москвы, только что покинувший Советский Союз. В архивах такого рода обычно ищут подтверждение уже известных сюжетов: эмигрантский опыт, память о советской повседневности, бытовые детали, столкновение с другой страной. Но довольно быстро стало ясно, что этот документ работает иначе. Он не просто сообщает информацию, а открывает человека в момент, когда тот еще не успел окончательно превратить свою жизнь в удобный рассказ о себе.

Это особенно важно, потому что позднее тот же человек будет писать автобиографически. Он будет вспоминать детство, молодость, хипповскую среду, Америку, свой внутренний путь. Но поздняя автобиография почти всегда знает слишком много о своей собственной форме. Она уже прошла через годы осмысления, оправданий, замалчиваний, смысловых перестановок. Человек в ней научился выбирать свет, в котором ему выгоднее показывать себя. Архивное интервью 1979 года — совсем другое дело. Оно еще не сглажено поздней ролью. В нем чувствуется живая неровность, и именно она делает его столь ценным.

Первое, что бросилось в глаза, — особая смесь откровенности и напряженного самоконтроля. Молодой собеседник говорит свободно, иногда резко, временами с почти бравадной интонацией, но чем внимательнее вчитываешься, тем яснее становится, что эта свобода не равна цельности. Перед нами не человек, спокойно знающий, кто он и как объяснить свою жизнь, скорее наоборот: это рассказ человека, который существует на разломе. Он уже успел многое пережить, но еще не придал своему прошлому окончательную форму. В его истории постоянно проступают те внутренние линии, которые позднее будут либо сглажены, либо переосмыслены.

Одной из самых сильных тем интервью становится психиатрия. На прямой вопрос о собственном опыте психиатрических больниц он отвечает сразу: да, такой опыт был. Дальше уточняет, что впервые сам пошел туда, потому что не хотел идти в армию и понимал, что его университетская карьера скоро закончится. Нежелание идти в армию звучит не как абстрактная политическая позиция, а как часть общей логики отказа жить по навязанному сценарию. Он заранее знает, что академическая траектория разваливается, и пытается искать обходной путь. То есть в раннем возрасте уже вырабатывается характерный способ действия: когда структура становится невыносимой, ее не принимают и не реформируют, от нее уходят. Не вступают в

открытый конфликт до конца и не подчиняются полностью. Ищут лазейку, обход, побег, иную роль.

Потом, со слов собеседника, его забирали в психбольницу еще дважды — уже с полицией. Этот фрагмент важен не только сам по себе, но и как первый психологический слепок. Психиатрическая больница в его рассказе появляется не просто как место страдания или внешнего давления, а как узел, в котором сходятся страх, расчет, конфликт с системой и демонстративное поведение. Он не описывает себя исключительно как жертву. Скорее, как человека, который пытается использовать доступные механизмы в борьбе с давлением извне, а потом оказывается втянут в эту же систему глубже, чем рассчитывал.

Важен и его рассказ о психиатрическом лечении как таковом. Он говорит о нейрорептиках, о тяжелых препаратах, о том, что после года в больнице можно «get a lot of the stuff back» («вернуть много вещей»), но некоторые последствия остаются необратимыми. Упоминает людей, которые пытались изображать психическую болезнь, чтобы уйти от обычной тюрьмы в психиатрическое учреждение. Он рассказывает об этом уверенно и подробно. Здесь прослеживается не только личный опыт, но и стремление к позиции наблюдателя — человека, который фиксирует устройство среды, а не только страдает внутри нее. Эта двойственность — очень важный ранний признак. Он одновременно включен и дистанцирован, живет в хаосе, но все время как будто немного смотрит на него со стороны. Позднее именно такая внутренняя позиция позволит этому человеку занять публичную роль наблюдателя, классификатора, судьи чужих жизней. Пока же это лишь едва различимая линия внутри разговора молодого эмигранта.

Особенно показателен эпизод, где он рассказывает, что однажды его забрали в полицию из-за того, что он не работал. По его словам, там его начали бить, у него с собой была бритва, он порезал себе руку, и после этого его отвезли в психиатрическую больницу как человека, пытавшегося покончить с собой. Важно не только содержание, но и манера рассказа. Этот эпизод не подается как драматическая кульминация. Он звучит почти сухо, и даже немного деловито, как один из множества случаев в биографии, где насилие, срыв и институциональное давление давно уже переплелись. Да, такая подача производит сильное впечатление. Это молодой человек, для которого

сама граница между крайним и привычным уже заметно смещена. Опыт побега, столкновения с милицией, психиатрии и саморазрушения существует в его речи не как абсолютное исключение, а как часть среды обитания. Это важно запомнить, потому что в дальнейшем многое в его поведении и самоописании будет строиться именно на этой ранней деформации нормы.

Вторая важная линия интервью — хипповская среда. В принципе потому мне и попало это интервью, ведь оно было выбрано для моей изначальной цели — понять мышление людей, которые хотели свободы и быть «настоящими» хиппи, а в результате где-то надломилась. Эта линия появляется не как романтическая декорация, а как пространство, в котором идея свободы уже тесно связана с распадом. Он говорит о советских хиппи как о движении, которое когда-то было заметным среди студентов, но к моменту его отъезда из СССР во многом деградировало. Те, кто остался, по его словам, были наркоманами «practically all heavy drug addicts», и многие провели годы в психиатрических больницах. Когда интервьюер спрашивает, что люди делали, когда собирались вместе, он отвечает предельно коротко: «Get stoned». То есть не говорит о музыке, дружбе, поиске смысла, разговоре, братстве или эстетике. Он дает формулу среды через наркотическое состояние. Это не значит, что другие измерения не существовали, но важно, что в его раннем рассказе на первый план выходит именно это. Свобода здесь переживается уже не как ясное моральное усилие, а как измененное состояние, как уход, как способ отключиться. Свобода от своего разума и сложившейся реальности.

Не менее важны и другие детали. Молодой человек хорошо знает, откуда доставали наркотики, как доставали тяжелые препараты из больничных резервов, как они попадали в среду. То, как он об этом говорит, показывает не поверхностное знакомство, а глубокую включенность. Он знает внутреннюю механику этого мира. И вновь бросается в глаза отсутствие дистанции между человеком и средой, которую он описывает. Он не морализирует, не строит задним числом ясную схему падения, не пытается представить себя внешним наблюдателем. Он говорит, как человек, для которого это было частью жизни.

Именно тут впервые по-настоящему проявляется тот вопрос, с которого, собственно, и началась эта книга. Что происходит с идеей свободы, когда она лишается

внутреннего основания? Из архивных данных видно, что этот переход уже произошел. Свобода от принуждения еще остается ценностью, но рядом с ней стоят наркотики, психиатрия, жизнь вне закона, страх, неприкаянность и почти постоянный риск самоуничтожения. Это уже не просто поиск нового способа жить, а существование на границе распада. Третья важная тема интервью — милиция и опыт постоянного преследования. На вопрос о проблемах с милицией во время его странствий он отвечает почти шутливо: «Every other day in every city and town» («Через день в каждом городе и поселке»). За этой усмешкой чувствуется другое — привычка жить как человек, которого регулярно останавливают, проверяют, задерживают, выталкивают из легального пространства. Такой опыт формирует особый тип отношения к власти. Власть начинает восприниматься не как абстрактный порядок, а как сила, от которой нужно ускользнуть, которую нужно обмануть или использовать против нее самой. Это один из ключевых моментов ранней биографии. Люди, с молодости привыкшие видеть в институте прежде всего источник угрозы и насилия, нередко сохраняют это отношение надолго. Иногда они так и остаются в логике бегства. Иногда — и это гораздо важнее для нашей истории — начинают воспроизводить ту же власть сами, только уже под своим знаком.

Нельзя не заметить и еще одну деталь. В интервью он временами как будто ищет определение самому себе через крайность. Человек не просто рассказывает о своем окружении, а как бы постоянно проверяет, как далеко можно зайти в этом описании. Будто ему важно не только сообщить факты, но и предъявить опыт как доказательство собственной исключительности. Это пока не оформлено в поздний публичный нарциссический стиль, но уже присутствует в зачатке. Его жизнь должна звучать не как обыденная, а как пограничная. Позднее это приобретет особое значение. Потому что публичная фигура, которая будет сформирована спустя годы, строится не только на идеях, не только на институциях и не только на внешней борьбе. Она строится на внутренней потребности быть особым случаем, человеком исключительного опыта, который как будто именно поэтому получает право говорить от имени нормы. Но если читать интервью 1979 года внимательно, становится видно, что никакой «нормы» там пока нет. Есть только опыт выхода из нее, опыт распада, самосборки на изломе.

В этом и заключается главное значение пленки. Она не дает полного объяснения, не «разоблачает» человека в простом смысле слова, однако разрушает позднюю

монолитность образа. После нее уже невозможно читать дальнейшие тексты и публичные выступления так, будто перед нами изначально цельная фигура, всегда стоявшая на одной и той же стороне баррикады. Нет, сначала был этот молодой «голос» — нервный, включенный в наркотическую и маргинальную среду, отмеченный психиатрией, бегством, страхом и постоянной попыткой выскользнуть из любой жесткой структуры. Я понял, каким именно будет мой следующий шаг. Мне нужно понять этот «голос», увидеть его корни, вернуться туда, где все только начиналось: в детство, в семью, в школу и ранние способы защиты от мира.

Глава 3. Бегство как способ жизни

Если смотреть на позднюю публичную фигуру Александра Дворкина, трудно сразу представить, что в её начале был мальчик, которому почти все время было неловко в мире других людей. В этом детстве нет ничего сенсационного и выглядело оно не как готовый пролог к будущей жесткости, однако в нем уже заметны те условия, которые позже сойдутся в одно. Практически все источники, содержащие информацию о данной личности, в той или иной форме сходятся в утверждении: в детстве ребёнок был уязвимым, несобранным, фантазирующим и плохо адаптирующимся в коллектив. Эти черты сами по себе еще ничего не объясняют. Подобных детей много. Вопрос в том, как именно среда отвечает на такую уязвимость, что она в ней усиливает, а что подавляет и какие способы защиты постепенно формируются на месте нормального опыта принятия.

Александр Дворкин, тогда еще просто мальчик с тревожным взглядом, рос в среде, которая на первый взгляд казалась оплотом интеллигентности и порядка, но на деле была местом глубочайшего внутреннего надлома. Его мать, филолог и преподаватель, человек книжной культуры, воздвигла вокруг него стену из высоких ожиданий и академической строгости. В этой социальной ячейке слово всегда было весомее поступка, а соответствие образу — важнее живого ребенка. Отец исчез из его жизни слишком рано, оставив после себя лишь гулкую пустоту, которую невозможно было

заполнить учебниками или нравоучениями. Большую роль в этой семейной атмосфере, вероятно, играл дед. В некоторых описаниях он предстает как фигура жесткая, властная, непростая. Это не обязательно означает прямую тиранию, но сам факт сильного старшего мужчины в доме, при отсутствии полноценного отца, почти всегда структурирует детскую психику особым образом. Такой человек может становиться одновременно источником порядка, страха, уважения, внутреннего напряжения и скрытого сопротивления. Если ребенок не может с ним реально спорить, он учится или подстраиваться, или внутренне уходить в себя, или накапливать скрытое раздражение, которое позже будет направлено на более безопасные объекты. Мальчик жил в пространстве, где его постоянно измеряли чужой, слишком длинной линейкой, и он неизбежно чувствовал, что не дотягивает, что он — лишь бледная тень того «идеального человека», которого из него так яростно пытались вылепить.

Ситуация осложнялась присутствием в доме больной сестры. Его не замечали в обыденности, его видели только тогда, когда он совершал ошибку. Когда в доме есть ребенок с выраженными проблемами здоровья, вся семейная эмоциональная перспектива неизбежно искривляется. Часть внимания постоянно занята тревогой, уходом, жалостью, напряжением и раздражением. Другой ребенок в такой семье очень легко начинает чувствовать, что его собственные трудности менее значимы, менее заметны, как будто вторичны. Он может ревновать. Может стыдиться этой ревности. Может, наоборот, пытаться привлечь к себе внимание другими способами — например, через ту же фантазию, странность или демонстрацию особенности. В итоге возникает очень нестабильный внутренний баланс: ребенок не чувствует себя главным объектом заботы, но при этом особенно нуждается в подтверждении своей значимости.

Позже, в биографических описаниях, эта информация проговаривается сухо, но фактически речь идет о классической семье, и особенно для советской городской среды: мать как главный организатор жизни, отец как фигура отсутствия, дед как компенсирующий авторитет, больная сестра как еще один постоянный эмоциональный фактор внутри дома. В таких сочетаниях часто возникают двойственные модели взросления. С одной стороны, ребенку предъявляют высокие ожидания, направляют, воспитывают, окружают интеллектуальной средой, хотят «сделать из него человека». С другой — внутри этой же семейной ячейки легко образуется чувство недостаточности,

что ты вечно не дотягиваешь до того образа, который уже существует в голове у взрослых. Здесь, в тихих коридорах московской интеллигентной квартиры, зародился первый и самый мощный инструмент — мифотворчество. Не умея утвердиться в реальности, Дворкин начал переписывать свою биографию в собственном воображении. Судя по опубликованным материалам, ранний мир мальчишки был очень насыщен фантазией. Это важная деталь. Фантазия сама по себе — не проблема, а естественный способ детской внутренней работы, но в нынешней истории всплывает один особенно показательный момент: ребенок мог примерять на себя различные вымышленные происхождения. Это выглядит как мелкая детская ложь, но такие вещи редко бывают случайными. В них уже есть зачаток будущего отношения к биографии как к пластичному материалу. Не принять себя как данность, а попробовать улучшить исходный сюжет, замещать его более выигрышной версией. В данном случае такая особенность, по-видимому, довольно рано стала не просто игрой, а средством компенсации. Там, где реальная социальная жизнь не давала устойчивого признания, начиналась воображаемая жизнь, в которой можно было быть кем-то другим, более цельным, более заметным, более значимым. Такое смещение особенно характерно для детей, которые плохо выносят унижение и не умеют спокойно переносить собственную второстепенность в группе.

Когда ребенок регулярно примеряет на себя другие происхождения, другие роли, другие биографические версии, это может быть и просто игрой. Но если подобные практики становятся устойчивыми, они нередко указывают на более глубокую проблему: неуверенность в собственной реальной форме существования. Иначе говоря, человеку трудно выносить себя как данность, и он учится «достраивать» себя фантазией. Эта линия также потом проявится с новой силой во взрослом возрасте, когда биография начнет все больше становиться материалом для самоконструирования. Но ее истоки, по-видимому, лежат именно здесь, в раннем опыте неустойчивой самооценки и в ощущении, что реального «я» как будто недостаточно.

Школьная история здесь особенно показательна. Из доступных описаний вырисовывается не образ открытого бунтаря, а скорее фигура ребенка, который не находит своего естественного места среди сверстников. Это не всегда означает прямое изгойство в грубой форме. Иногда речь идет о чем-то психологически не менее тяжелом:

человек физически присутствует в коллективе, но эмоционально туда не включен. Он не становится центром притяжения, не входит в число «своих», не обретает уверенного места в коллективе. В результате каждая сцена общения начинает ощущаться как потенциальная проверка, а каждый смех — как возможное унижение. Такого ребенка почти неизбежно тянет либо в оборону, либо в самопридуманную исключительность. Если тебя не признают естественным образом, очень велик соблазн признать себя особым самому. Не как факт зрелой личности, а как защитный жест. Впоследствии он часто перерастает в повышенную чувствительность к признанию, в болезненное отношение к статусу и в жажду компенсации через образ собственной необычности.

Если совместить все эти факторы — отсутствие отца, сильную и занятую мать, непростой авторитет деда, больную сестру, школьную неустроенность, склонность к фантазированию и повышенную чувствительность к собственному положению среди других, — получится среда, в которой легко формируется противоречивый характер. Такой ребенок может быть одновременно ранимым и самолюбивым, зависимым от чужого мнения и презирающим его, ищущим признания и в то же время мечтающим выйти из всякой общей нормы. Это не «объясняет все», но многое делает понятнее.

Особое значение в биографии детства имеют эпизоды, связанные с лагерем и побегом. Здесь важен не столько сам факт, сколько структура переживания. Детский коллектив, организованный как дисциплинарная система, был для многих советских детей неприятным опытом, но не для всех становился травмой. Если же ребенок не просто тяготится лагерем, а бежит из него, это обычно говорит о куда более глубокой непереносимости принудительного коллективного порядка. В таком побеге уже заметна очень важная будущая линия характера: когда внешняя рамка становится невыносимой, ответом оказывается не диалог, не адаптация и не внутренняя перестройка, а уход. Эта логика ухода потом будет повторяться по жизни многократно — в отношениях со школой, с институтом, с армией, с государством, с нормой вообще. Но в детстве она еще проявляется как почти чистая реакция организма и психики: «я не могу тут оставаться, мне нужно исчезнуть».

Следует оговориться: в детском материале очень легко поддаться соблазну задним числом увидеть в каждом эпизоде «знак будущего». Этого делать нельзя. Не всякий замкнутый ребенок становится фанатиком, не всякий фантазер превращает

жизнь в серию масок, не всякая школьная неловкость ведет к жестокости. Но в данном случае нас интересуют не отдельные черты, а их сочетание и устойчивость в конкретной личности. А сочетание выглядит так: ребенок, внутренне неустойчивый, плохо интегрированный в коллектив, зависимый от воображаемых компенсаций, живущий в семье с дефицитом простого и спокойного эмоционального принятия, постепенно учится строить защиту не через устойчивость, а через уход, смену ролей и внутреннее противопоставление себя среде. Позднее, будучи уже взрослым, он прямо напишет, что с тех пор (после лагеря) не любит коллективные формы жизни, группы, организованное совместное существование, «жизнь под горн и барабан». Этот комментарий очень ценен, потому что он показывает: побег из лагеря не был случайным детским импульсом, он закрепился как структурный опыт. Мир, где человеком управляют снаружи, переживается как мир, из которого нужно вырываться.

В некоторых мемуарных фрагментах, связанных с ранними годами, уже чувствуется зарождение важной дуги: напряжения между унижением и исключительностью. Ребенок переживает себя слабым, неловким, непризнанным, но именно поэтому особенно нуждается в скрытой мысли о собственной особости. Такая мысль сначала просто помогает выжить. Потом становится привычкой, затем может превратиться в фундамент личности. Психологически это один из самых опасных механизмов, потому что он редко выглядит угрожающим на ранней стадии. Напротив, со стороны это может казаться просто повышенной впечатлительностью или богатым внутренним миром. Но если человек годами живет в схеме «меня не видят таким, каким я должен быть увиден», он неизбежно начинает или искать среды, где ему дадут новый статус, или строить этот статус самостоятельно — через жест, позу, роль, идеологию, власть над языком, а потом и над другими. При этом стоит подчеркнуть, что детство персонажа вовсе не было пустым или беспризорным. Им занимались. Его водили в художественную школу. Он бывал в археологическом кружке. Для него искали правильные формы развития. Это важная поправка. Иногда склонность к побегу рождается из тотальной заброшенности. Здесь ситуация иная. Внешняя забота есть, но внутренней простоты нет. Ребенка развивают, направляют, от него ждут движения вверх, но он не чувствует, что не в своей «тарелке». В такой среде часто вырастает человек,

который потом умеет говорить о высоком, но не очень умеет быть спокойным в самой простой человеческой реальности.

Для детей, которым не хватает устойчивого признания, тело очень часто становится еще одним способом говорить: посмотрите на меня, что-то не так, со мной должно что-то происходить, я не просто один из многих. Иногда это связано с тревогой. Иногда — со способом получить внимание, которого иначе не хватает. Иногда — с тем и другим одновременно. В некоторых биографических источниках говорится о частых жалобах, о склонности к соматизации, об интересе к медицинской роли. Это не надо утрировать, но и игнорировать не стоит. Если добавить к этому раннюю жизнь в доме, где уже присутствуют болезнь, психоневрологическая тема, напряжение и фигура старшего человека с жестким складом, становится понятнее, почему позднее психиатрическое и медицинское пространство не будет для него абсолютно чужим. Оно окажется встроено в биографию гораздо раньше, чем это обычно бывает у человека без подобного семейного опыта.

Отдельного внимания заслуживает ранняя религиозная тема. В поздних книгах Александр Дворкин вспоминает, как в детстве задавал матери вопрос о Боге и получал в ответ типично советское атеистическое объяснение. По сути, ему сразу предлагалась не нейтральная картина мира, а вполне ясная иерархия: религиозность — это признак прошлого, наивности, недоразвитости. Умные люди верят не в Бога, а в историю, в науку, в правильный порядок вещей. Для ребенка такие ранние объяснения важны не столько своей логикой, сколько внутренней моделью оценки: если ты веришь, значит, ты на стороне слабых и глупых; если не веришь — ты на стороне сильных и современных. Но тут же рядом с этим возникают другие эпизоды — детский страх в церкви, странное напряжение, связанное с религиозным пространством, воображаемая сила, которой хочется одновременно и верить, и сопротивляться. Другими словами, религиозная тема входит в его ранний мир не как спокойная вера и простое неверие, а как внутренний конфликт. Это потом станет очень важным. В зрелой биографии тема Бога будет присутствовать не как нейтральный духовный фон, а как ось внутреннего напряжения. Такой ребенок не просто страдает от среды; он начинает медленно учиться жить против нее — сначала мысленно, потом поведенчески. Именно это, вероятно, и стало главной почвой для дальнейших превращений.

Важнее всего в этой ранней главе жизни то, что в ней постепенно складывается способ защиты. Не один эпизод и не одна черта, а именно способ. Если ребенок снова и снова чувствует, что в реальном мире ему тесно, стыдно, страшно или не по размеру, он ищет устойчивую внутреннюю технику выживания. Для него таким инструментом становятся уход, фантазия и скрытое противопоставление себя среде. Позже эти защитные движения лишь усложнятся. Появятся подростковые роли. Мальчик, которого трудно было вписать в коллектив, со временем научится делать из этого не только личную защиту, но и личную позицию. Сначала он просто не умеет быть своим. Потом начинает считать это преимуществом. Позже из этого вырастет и право смотреть на других как на тех, кого уже можно судить извне, но до этого еще далеко. Сначала будет подростковый возраст — тот момент, когда ранняя неустойчивость встретится со средой, которая предложит новую иллюзию свободы.

Когда в жизни мальчика появился проводник в мир неформалов, он осознал, что его неспособность «быть своим» можно продать как знак избранности. Новый ученик в девятом классе — длинноволосый, внешне чужой, уже связанный с хипповской средой (в поздних воспоминаниях эта встреча описана почти как поворот судьбы). В одном источнике парень назван Толей Вайнбергом, в другом — Павлом. Разночтение имени здесь не так важно, как функция самой фигуры. Для подростка, который до этого жил в опыте неполной включенности и внутреннего стыда, такой одноклассник становится проводником в другой мир. Он приходит не просто с новым стилем, а с обещанием иной реальности — той, где можно не быть как все и даже превратить свою отдельность в достоинство.

Школа, по собственным поздним словам героя книги, к тому времени уже была для него пространством глубокой скуки и отчуждения. Он не видел в ней ничего живого, а главное — ничего, что помогало бы ему собрать себя. Контрсреда, напротив, давала именно это ощущение. Не устойчивость, конечно, и не зрелость, а право выйти из общей нормы и объявить это выходом в свободу. Для такого подростка это было почти идеальным предложением. Мир, который прежде видел в нем неудачника или, по меньшей мере, неудобного человека, вдруг переставал быть единственным. Появлялась территория, где длинные волосы, маргинальность, внутренний протест, отказ от школьной и семейной дисциплины могли быть знаком принадлежности к избранным.

Ранняя потребность в воображаемой исключительности впервые получает социальную оболочку. До этого фантазия работала как внутренний компенсаторный механизм, теперь у нее появляется коллективная форма. Подросток, который не чувствовал себя принятым в обычной среде, входит в пространство, где непринятость становится почти знаком качества. Это очень важный момент. Потому что с этой минуты его уход из нормы перестает быть только защитной реакцией. Он начинает переживаться как более высокая позиция.

В поздних книгах Саша Дворкин пишет о том, что для него хипповская среда казалась формой честной жизни, выражением отказа от внешней лжи. Но если читать сюжет внимательно и сопоставлять разные источники, становится ясно, что дело было не только в «поиске свободы». Контркультура давала ему то, чего раньше хронически не хватало: новую иерархию, в которой он мог наконец почувствовать себя не снизу, а внутри чего-то значительного. Именно поэтому встреча с хипповской средой была для него столь сильной. Она не просто расширила опыт — она дала новую схему самоощущения. Почти сразу вместе с этим приходит и новая система зависимостей. В этом мире было много того, что в позднейших легендах о свободе обычно стараются либо романтизировать, либо смягчить: наркотики, психиатрия, жизнь на границе закона, постоянный страх перед милицией, маргинальный быт, внутренние иерархии, насилие и взаимное использование. В этом смысле подростковое «освобождение» было одновременно и входом в новую клетку. Просто на первых порах она выглядела не как принуждение, а как выход из старого порядка.

Одним из центральных мотивов этого возраста становится измененное состояние. В воспоминаниях и особенно в тех материалах, которые ближе по времени к его молодости, видно, какое место начинают занимать вещества, психофармакология, интерес к отключению от реальности и к управлению собственным состоянием. Здесь важно не только то, что он оказывается в среде, где наркотики уже стали повседневностью. Важно, что для него самого эта среда дает еще и ощущение особого знания, особого доступа к опыту, который отделяет «своих» от «обычных». Именно в подростковом возрасте у Александра, судя по опубликованным данным, происходит резкое изменение поведения. Это фиксируют и медицинские записи, и поздние воспоминания, и косвенно — круг тех, о которых он сам потом будет говорить. В

документах, связанных с психоневрологическим наблюдением, описывается перелом примерно с девятого класса: новые друзья, новая среда, конфликты с матерью, начало употребления алкоголя, затем психоактивных веществ. Внешне это можно описать как типичную позднесоветскую историю ухода подростка в неформальную субкультуру, но биографически это было не просто «увлечение хиппи». Это был способ пересборки собственной идентичности.

Подросток, которого раньше наказывали за хвастовство и неловкость, теперь получает иную модель значимости. Он становится человеком «не как все» уже не в болезненном школьном, а в желанном контркультурном смысле. Его инаковость перестает быть только поводом для стыда и начинает приносить символический капитал. Это важный психологический сдвиг. Он не избавляет от уязвимости, но меняет ее знак. Однако новая среда не делает его спокойнее. Скорее, наоборот. Она усиливает уже существовавший внутренний раскол, потому что вместе с ощущением освобождения приходит еще большая неустойчивость, еще более сильная зависимость от роли, от взгляда других, от группы, от состояния, от внутренних качелей между грандиозностью и внутренней пустотой. Именно здесь особенно заметно, что свобода в его опыте с самого начала смешивается не с внутренним созреванием, а с эйфорией ухода. В этом возрасте возникает и важная тема милиции, страха перед наказанием и постоянного чувства преследования. Этот опыт сам по себе был травматичным, но важно и то, как он ложился на уже существующий характер. Человек, и без того чувствительный к унижению, попадал в среду, где унижение и преследование становились почти ритуалом. Пришло время остановиться на эпизоде, который в разных источниках проступает как один из самых темных узлов всей ранней биографии, — на истории смерти школьного друга.

За маской уязвимого интеллектуала-неудачника уже тогда начинала проступать тьма. Исследуя материалы, которые легли в основу анализа его темной стороны, я наткнулся на леденящие душу подробности его школьных лет. В его воспоминаниях, замаскированных под художественную прозу или отстраненные мемуары, то и дело возникают образы, от которых веет холодом могильной плиты. Самым страшным и символическим эпизодом стала история на Сокольнических прудах. Его единственный близкий друг, мальчик по имени Яша — тихий, заикающийся, глубоко верующий

ребенок — стал той точкой, в которой боль превратилась в нечто гораздо более опасное. Тот день на прудах до сих пор окутан туманом двусмысленности, но для профайлера детали говорят громче прямых признаний. Яша утонул. Саша Дворкин был рядом. Именно тогда, как мне кажется, в нем окончательно умер человек, способный на сострадание, и родился холодный наблюдатель, для которого чужая жизнь — лишь материал для его внутренних метаморфоз. Его панический страх перед матерью погибшего Яши, его стремление спрятаться, исчезнуть из поля ее зрения — это был не стыд, а страх разоблачения того нового, пугающего знания о себе, которое он приобрел в ту минуту на пруду. Он почувствовал вкус власти над самой смертью, над последней чертой человеческого существования. Поначалу мои выводы могут показать слишком громкими и бестактными, но не спешите с этим.

В детстве и раннем подростковом возрасте рядом с Александром был близкий приятель — мальчик по имени Яша. В более раннем источнике, восходящем к устным рассказам самого героя, этот Яша описан как тихий, стеснительный, заикающийся мальчик, живший с бабушкой и с детства связанный с церковным пространством. Именно Яша, если верить этому рассказу, однажды объяснял Саше, кто такой Бог, и именно рядом с этой детской темой в памяти потом возникает тема смерти. В романе Аркадия Ровнера «Калалацы» Яша появляется не как случайный одноклассник, а как фигура ранней близости, один из тех немногих, с кем мальчику, не умеющему быть своим среди других, было относительно легко. Это уже само по себе важно. Для ребенка, который плохо включается в коллектив, один такой друг может значить очень много. Потеря такого человека редко проходит бесследно. Также сразу замечу, что в романе известный российский писатель и драматург использовал материалы личных бесед с Александром Дворкиным для создания художественного портрета персонажей книги.

Также согласно одному из ранних пересказов, в конце девятого класса Яшу вытащили из Сокольнических прудов. Он утонул. В другом позднем источнике, уже написанном самим Александром, эта же смерть возникает не прямо, а через образ матери друга, потерявшей сына. Он вспоминает, как боялся встречаться с ней в коридоре материнского института, как заранее прятался, чтобы не попасться ей на глаза. Уже сама эта деталь производит сильное впечатление. Человек может тяжело

переживать чужую смерть, избегать разговора, потому что не знает, как смотреть в глаза матери умершего мальчика, — это возможно. Но описанная реакция выглядит сильнее обычной неловкости. Здесь есть не только боль, но и страх. Не просто нежелание тревожить чужое горе, а почти паническое стремление исчезнуть из поля зрения этой женщины. Именно это заставляет вчитываться в эпизод внимательнее. Позднее, в одном из наиболее символически нагруженных фрагментов ровнеровской книги, появляется сцена посещения могилы Яши. Рассказ идет уже не о факте утраты, а о переживании, устроенном почти как внутренняя мистерия. Дворкин приходит на кладбище, стоит у могилы, его трясет от ужаса, вокруг яркий снег, после чего он ранит руку, видит кровь на снегу, потом ощущает странную легкость, как будто из него вышло нечто темное и мучительное. Далее следует цепочка почти галлюцинаторных сцен, в которых мертвый Яша снова возникает перед ним, уже с лицом, искаженным чем-то страшным и окончательным. Этот отрывок нельзя читать как буквальный документ, но его невозможно игнорировать как материал психобиографического значения. В нем удивительным образом сходятся несколько устойчивых образов: смерть близкого, ужас, кровь на снегу, ранение руки, чувство освобождения после ужаса, возвращение мертвого в видении, ощущение собственной внутренней измененности. Такие сцены редко рождаются в памяти случайно. Обычно они либо перерабатывают травму, либо скрыто воспроизводят опыт, связанный с невыносимым чувством вины. В символическом плане поврежденная рука легко читается как знак действия, которое не может быть забыто. В культуре и языке рука часто связана с ответственностью за поступок. Когда в этой же сцене появляется кровь, снег и сильный страх, вся композиция начинает звучать как косвенная репрезентация чего-то, что не было прожито открыто, но осталось внутри как неразрешенный узел.

Если держаться только строго установленных фактов, можно сказать одно: в подростковом возрасте он переживает смерть близкого друга, и эта смерть оставляет след, который не исчезает, а возвращается в позднейших воспоминаниях и переработанных текстах в форме навязчивых символов. Но если смотреть глубже, возникает и более тревожная возможность: перед нами не просто память о потере, а память о событии, в отношении которого он внутренне не может занять чисто внешнюю позицию. Именно поэтому в его реакции так много не только горя, но и страха. В любом

случае этот эпизод имеет особое значение. После него, судя по косвенным данным, внутреннее устройство подростка меняется. В ровнеровском тексте прямо появляется мотив пробуждения в девятом классе после смерти Яши и последующего ощущения, будто он смотрит на себя со стороны. Это описание очень похоже на диссоциативный опыт. В психологии такая реакция нередко возникает после сильной травмы, особенно когда психика не может интегрировать пережитое напрямую. Человек начинает существовать как будто немного в стороне от самого себя, одновременно внутри жизни и вне ее.

Такой тип внутренней дистанции в дальнейшем может иметь очень разные последствия. В одном случае он делает человека ранимым и распахнутым. В другом — создает базу для холодного наблюдения за собой и за другими. У персонажа этой книги, судя по всему, начинают действовать оба механизма сразу. Он переживает разрыв, но одновременно как будто учится смотреть на жизнь, свою и чужую, чуть отстраненно. Позднее именно такая отстраненность станет важной частью его взрослой публичной роли.

После смерти Яши и одновременно с углублением в хипповскую среду усиливается и тема наркотиков. В рассказах о себе он позднее нередко старается удерживать дистанцию, но архивные материалы и более ранние литературные пересказы показывают, что интерес к психоактивным веществам, к их действию и к самой логике отключения от реальности был очень серьезным. Здесь важно даже не количество употребленного, а направление внутреннего движения. Вместо того чтобы выдерживать реальность, подросток все чаще ищет способы выйти из нее — химически, социально, психологически. К этому же времени относится и нарастающий конфликт с семьей. Мать не принимает новую среду, длинные волосы, поведение, друзей. Подросток, в свою очередь, воспринимает это не как заботу, а как давление. Внутрисемейный конфликт резко обостряется. В психиатрических материалах позднее будет упоминаться эпизод с порезом руки после домашней сцены. Уже здесь видно, что давление извне и демонстративная реакция на него начинают сцепляться всё теснее.

В подростковом возрасте складывается та комбинация, которая потом будет сопровождать его еще долго: внешняя антиавторитарность, внутренняя зависимость от признания, роль маргинала как способ самоутверждения, повышенная

чувствительность к унижению, склонность к уходу, интерес к измененным состояниям и растущий разрыв между внутренним хаосом и тем образом себя, который хочется предъявить другим. Позже в интернете мне удалось найти дополнительные сведения о подростковом возрасте Дворкина. Как я полагаю, именно эта информация раскрывает гораздо больше мотивов его поведения и смерти его друга детства.

Чаще всего процесс распада человеческой природы начинается с едва заметной трещины, с малого компромисса с совестью, который постепенно расширяется, превращаясь в зияющую пропасть. Трагедия Александра Дворкина, развернувшаяся на страницах хроники его падения, — это не просто биографическая история человека, чьи поведенческие маркеры, позволяют ставить вопрос о возможной серийной деструктивности и скрытом насилии, но последовательный отчет о том, как рождается абсолютное зло. Первый шаг в бездну никогда не бывает случайным; он всегда является результатом долгого, подспудного вызревания внутренней тьмы, которая ищет выхода и легитимизации. Для Дворкина этот выход был найден через подавление другого, через превращение живого существа в инструмент для подтверждения собственной исключительности.

Первый акт непоправимого зла — это не только физическое насилие, это прежде всего метафизический разрыв с человеческим родом, после которого возвращение в мир людей становится невозможным. Зло здесь выступает не как отсутствие добра, а как активная, создающая хаос сила, требующая свидетелей и соучастников для закрепления своего триумфа. В этой мрачной инициации ключевую роль играла фигура Яши — единственного друга, человека слабого, ведомого и психологически податливого. Отношения между ними никогда не были дружбой в общепринятом смысле слова; это был союз хищника и его тени, симбиоз, в котором один питался волей другого.

Дворкин интуитивно понимал, что для окончательного превращения в «сверхчеловека», стоящего по ту сторону морали, ему необходимо зеркало, в котором он сможет увидеть свое отражение и не содрогнуться. Яша был этим зеркалом. Александр хитро исследовал границы дозволенного, вовлекая товарища в мелкие акты жестокости, словно приучая его к запаху крови и вкусу власти. Психологическое доминирование Дворкина строилось на тонком понимании страхов Яши: страха

одиночества, страха перед силой и, парадоксально, потребности быть причастным к чему-то великому, пусть даже это «великое» носило инфернальный характер. Александр готовил почву для главного акта, который должен был навсегда сцепить их одной невидимой, но неразрывной цепью, превратив Яшу из наблюдателя в кровавого адепта его воли. Роковой день начался с обыденности, которая всегда сопутствует истинному ужасу. Жертвой был выбран первоклассник — воплощение абсолютной незащитности и чистоты, которая так раздражала и одновременно манила Дворкина. Маленький мальчик, возвращавшийся домой, стал для Александра не просто объектом охоты, а символом той самой «божественной» искры, которую он вознамерился потушить. Заманивание произошло с пугающей легкостью: маска доброжелательности, которую Дворкин умел надевать с артистической точностью, сработала безотказно. Несколько слов, обещание чего-то интересного на пустыре — и ребенок, доверчиво вложив руку в руку монстра, шагнул навстречу своей гибели. Яша следовал за ними, терзаемый смутным предчувствием беды, но парализованный волей Александра. В этот момент Дворкин уже не был просто подростком; он превратился в режиссера кошмара, который тщательно выстраивал мизансцену на окраине города, в «серой зоне», где социальные законы перестают действовать, уступая место закону джунглей и абсолютной тирании сильного.

На пустыре, скрытом от глаз случайных прохожих, разыгралась сцена, за пределами которой начинается территория чистого безумия. То, что произошло в тени бетонных стен, стало кровавым крещением, навсегда разделившим жизнь участников на «до» и «после». Дворкин действовал не в состоянии аффекта, а с особой методичностью. Акт насилия над ребенком был для него не просто удовлетворением низменных инстинктов, но актом высшего самоутверждения, формой обладания чужой судьбой. Далее последовало принуждение Яши к соучастию, когда необходимо было запрячь тело невинной, еще живой, жертвы. Александр понимал, что общая тайна — это самая крепкая цепь. Он заставил своего ведомого товарища принять участие, тем самым убивая в Яше остатки человечности. Дворкин наблюдал за происходящим с холодным, почти научным интересом. Для него это было доказательством того, что бога нет, либо он отвернулся, позволяя тьме торжествовать в этом конкретном мгновении. Убийство мальчика последовало как логическое завершение процесса: свидетель

должен был исчезнуть не ради безопасности, а потому что его роль в «эксперименте» была исчерпана.

Психологическое состояние Яши после совершенного преступления можно описать как тотальный распад личности. Если Дворкин вышел из этой ситуации укрепившимся в своем злобе, то Яша был раздавлен грузом увиденного и содеянного. Для него травма свидетельствования стала фатальной. Яша оказался в ловушке: он ненавидел Дворкина, боялся его, но в то же время чувствовал к нему неразрывную, почти мистическую привязанность, порожденную общим грехом. Судьба маленькой жертвы стала незаживающей раной на теле общества, хотя в тот момент никто еще не знал всей правды. Обнаружение тела ребенка вызвало волну ужаса и негодования, которая, однако, быстро разбилась о неспособность следствия и обывателей представить, что такое зло может исходить от подростков, живущих по соседству. Жизнь мальчика, оборванная в самом начале, превратилась в статистическую единицу в криминальных сводках, но для тех, кто совершил это, она стала фундаментом их будущего проклятия. Непосредственные последствия открытия преступления привели к усилению патрулей и временному страху в районе, но Дворкин оставался неуязвим в своем ледяном спокойствии. Он видел, как мир содрогается от его действий, и это приносило ему извращенное удовлетворение.

Конец Яши был столь же предсказуем, сколь и трагичен. В логике Дворкина не было места для слабых звеньев, способных на раскаяние или случайное признание. Когда душевные муки Яши стали слишком очевидными, а его поведение — нестабильным, Александр принял решение об «утилизации» своего единственного друга. Смерть Яши была обставлена с той же расчетливостью, что и первое убийство. Это не было актом мести, это была чистая прагматика хищника, заматающего следы. Дворкин устранил Яшу, возможно, даже внушив ему, что это единственный способ прекратить его страдания. В материалах одного из произведений о биографии Дворкина этот момент описывается как его окончательное падение в бездну одиночества, где он остается единственным носителем своей страшной правды. Яша унес с собой в могилу страх и вину, став второй жертвой того рокового дня, пусть и с отложенным финалом. Его смерть могла ознаменовать окончательное превращение Дворкина в маньяка, свободного от любых человеческих привязанностей.

Эти два убийства — случайного ребенка и самого близкого друга — вероятно стали тем фундаментом, на котором воздвигся храм абсолютного зла Александра Дворкина и сформировали его не просто как преступника, а как идеолога смерти, для которого человеческая жизнь лишена сакральности и является лишь разменной монетой в его играх. Пройдя через кровь невинности и пепел дружбы, он окончательно стер в себе ту границу, которая отделяет человека от зверя. Но, возможно, называть его зверем было бы ошибкой, ибо звери убивают ради выживания, Дворкин же убивал ради утверждения своей воли и проверки реальности на прочность. Глядя на его путь, невольно приходишь к выводу, что истинное зло — это не отсутствие разума, а его извращенная гипертрофия, когда интеллект полностью отрывается от этики и начинает служить лишь собственному разрушительному любопытству. Граница между человеком и монстром пролегает не в области биологии, а в способности сопереживать чужой боли; Александр Дворкин добровольно перешагнул эту черту, оставив позади мир живых и превратившись в холодную, расчетливую тень, чье присутствие в мире напоминает нам о том, как легко свет души может быть поглощен абсолютной тьмой нигилизма.

История ранних злодеяний Александра Дворкина оставляет после себя лишь пепел и горечь. Вопрос о справедливости остается открытым, так как никакое наказание не может компенсировать утрату невинности и разрушение человеческих жизней. Память о тех событиях служит суровым напоминанием о том, что зло часто скрывается за маской обыденности, а монстры живут среди нас, питаясь нашим равнодушием и неспособностью распознать тьму, пока она не станет абсолютной. Ранние зверства Дворкина — это не просто прелюдия к его биографии серийного убийцы, это диагноз человеческой природе, способной порождать существа, для которых чужая боль является единственным способом почувствовать собственное существование. Влияние этих событий распространяется далеко за пределы конкретных дат и имен, оставляя след в коллективном бессознательном как предупреждение о том, что битва между маньяком и божественным началом внутри каждого из нас продолжается каждую секунду, и исход ее никогда не предопределен заранее.

Когда Дворкин выходит из школы и становится студентом, то получает более широкий простор. Он поступает в Московский государственный педагогический институт на филологическое направление — на первый взгляд, почти естественное продолжение семейной линии. Казалось бы, здесь у него был шанс закрепиться в более привычной и понятной для него интеллектуальной среде. Но именно это и не происходит. Институт не становится пространством собирания личности, а становится еще одной формальной рамкой, которая довольно быстро начинает восприниматься как враждебная и ненужная. В воспоминаниях о студенческих годах он описывает процесс обучения как примитивный и мертвый. Преподаватели раздражают его не только как носители системы, но и как люди, с которыми он не хочет соотносить себя. Однокурсники тоже остаются чужими. Чем дальше, тем меньше он живет как студент и тем больше, как человек параллельной жизни. Это очень важный момент. Формально он учится, но фактически уже принадлежит другой среде и другой логике существования.

В студенческие годы окончательно оформляется его включенность в хипповскую систему. То, что в девятом классе было входом в контрсреду, здесь становится образом жизни и одновременно — формой нарастающего распада. Это сочетание чрезвычайно важно. Внешне такой человек может выглядеть свободнее, чем прежде, но внутренне его жизнь все больше зависит от чужих квартир, состояний, случайных связей, страха перед властью, конфликтов с домом, постоянной игры с социальной границей и все более нестабильного чувства собственного «я». Иными словами, свобода, которой он так хотел, не приводит его к автономии. Она приводит его к более сложной и опасной зависимости. Уже в это время Александр теряет академическую траекторию. Учеба разрушается. Конфликт с институциональным порядком становится открытым. Дальше вступает в силу уже знакомая логика: если пространство не выдерживается, его не преодолевают — из него выходят.

Так подростковый возраст и раннее студенчество оказываются не просто временем «поиска себя». Это период, когда ранняя детская несобранность получает культурную форму, а затем и маргинальную устойчивость. Вся предыдущая уязвимость здесь не исчезает, а вооружается. Появляется стиль. Появляется среда. Появляется язык свободы. Но за этим языком уже отчетливо стоят бегство, уход от нормы, страх, саморазрушение

и особая жажда той роли, в которой собственная несобранность начинает казаться знаком превосходства над «обычными».

Бывает свобода как внутренняя работа, а бывает «свобода» как отрицание любых границ вообще. Внешне они могут выглядеть похоже, особенно в молодости, но последствия у них разные. Первая требует взрослости. Вторая может существовать и без нее, подпитываясь одним только чувством освобождения от чужой воли. Именно ко второй форме Дворкин, похоже, тяготел с самого начала. Хипповская среда оказалась более привлекательной формой самоускользания. Там можно было не быть хорошим сыном, примерным учеником, советским студентом, будущим учителем, «нормальным» человеком. Там вообще не нужно было быть чем-то устойчивым. Достаточно было быть против. Или хотя бы вне.

Следующий период этой истории начинается там, где бегство перестает быть только внутренней реакцией и становится способом жизни в полном смысле этого слова. Для некоторых людей бегство от «обычных» устоев жизни постепенно перестает быть реакцией и становится её стилем, затем — способом мышления. Судя по всему, именно это и произошло в истории Александра. В этой новой среде Саша довольно быстро получает то, чего раньше ему не хватало: символическое признание. Не как успешный, не как сильный, не как по-настоящему любимый, а как иной. Его длинные волосы, внешний вид, манера поведения, принадлежность к кругу «своих» начинают работать как социальный знак. Если в школе выделенность означала уязвимость, то здесь она становится валютой. Это, вероятно, и было одним из главных наркотиков еще до всяких веществ: ощущение, что твоя несовместимость с общим порядком больше не позор, а пропуск в особый мир. Однако этот мир очень быстро предъявляет свою цену.

Из воспоминаний, интервью и более ранних пересказов следует, что наркотики довольно рано становятся не побочным элементом среды, а одной из ее осей. Причем речь идет не о случайном эксперименте, а о достаточно глубоком погружении в эту реальность, со знанием названий препаратов, эффектов, сочетаний, способов добычи и внутренней иерархии состояний. Он не просто оказался рядом с этим миром. Он изучал его изнутри. В дальнейшем его отношение к зависимостям, психиатрии и человеческой уязвимости будет звучать уже с другой позиции — с позиции судьи, классификатора,

человека, присвоившего себе право определять, кто вышел за черту. В молодости же он сам жил именно по эту сторону черты.

Одна из самых поразительных особенностей его ранних рассказов — легкость, с которой он говорит о крайних состояниях. Не потому, что они были для него легкими, а потому, что он довольно быстро научился воспринимать их как нормальный фон собственной жизни. Психиатрическая больница, милиция, алкоголь, вещества, люди с проколотыми венами, воровство, дикие ночные разговоры, жизнь без денег, постоянная опасность — все это подается не как серия катастроф, а как естественная биография человека, живущего «по-настоящему», вне фальшивой нормы. Это очень важная подмена, потому что свобода в таком виде уже начинает означать не возможность распоряжаться собой, а возможность бесконечно исчезать из всякой ответственности. Она перестает быть актом самоопределения и становится опытом отключения от прямого столкновения с собственными последствиями. Дворкин уходит не только от государства. Он уходит от любой ситуации, в которой его можно зафиксировать. Бегство становится способом существования, а не экстренной реакцией. Это особенно видно в эпизодах, связанных с его странствиями. В более поздней книге он романтизирует их как большое хипповское путешествие по стране. Но если смотреть на этот период трезво, речь идет о затяжной форме биографического ускользания. Перед нами молодой человек, который не просто путешествует. Он исчезает из прежней жизни, подменяя движение направлением, а отсутствие опоры — ощущением воли.

Особое место в этой личной драме занимает путешествие автостопом в 1976 году. Четыре месяца скитаний по Грузии, Крыму, Молдавии, Украине, Белоруссии и других соседних странах — это классический «путь героя», но в случае Дворкина он кажется поиском смыслов, закончившимся столкновением с абсолютной пустотой советской провинции. Я размышляю о том, что видел этот молодой человек на пыльных дорогах империи. С одной стороны — «цветочный» идеал хиппи, с другой — серость и безысходность застоя. В этом путешествии, как мне кажется, окончательно оформилось его интеллектуальное неприятие советского строя, подпитанное чтением Солженицына. Это влияние критически важно для понимания будущего Дворкина: он научился видеть скрытые механизмы подавления везде. Но здесь же кроется и опасность: переняв манеру Солженицына обличать тоталитаризм, Дворкин со временем сам стал

использовать тоталитарные методы в своей риторике, превратив антисектантство в своего рода зеркальный ГУЛАГ, где он сам решает, кто «нормален», а кто — «духовно болен».

Такие биографии часто производят обманчиво яркое впечатление. Они красиво смотрятся в мемуарах или фильмах. Есть маршрут, риск, случайные встречи, ночевки, где придется, столкновения с милицией, ощущение открытого пространства. Но если убрать литературный фильтр, в основе этой жизни лежит очень простая вещь: невозможность выдерживать устойчивую реальность. Человек существует только пока движется. Остановка опасна, потому что она грозит возвращением к самому себе — к тому самому внутреннему устройству, от которого он, по сути, и бежит. Отсюда и особая связь бегства со страхом. Он хочет свободы, но она все время идет рядом с преследованием и существует только пока за тобой можно гнаться. Это странный, но очень важный психологический узел, когда человеку нужен не результат побега, а сам режим бегства. Отсюда вытекает и другая вещь: бегство дает почти наркотическое чувство собственной отдельности. В этом смысле хипповский опыт оказывается для него не альтернативой советской системе, а ее зеркальной противоположностью. Там все было жестко, заранее расписано и принудительно. Здесь — как будто бы ничего не закреплено, но именно поэтому возникает другой тип подчинения: подчинение состоянию, среде, случаю, внутренней необходимости все время уходить дальше.

На этом фоне институт окончательно разваливается как жизненный маршрут. Он поступает туда, но не живет как студент в обычном смысле слова. К учебе относится все более отстраненно, к преподавателям — раздраженно, к однокурсникам — как к чужим. Это не просто кризис молодого человека, который понял, что выбрал не ту специальность. Это гораздо более глубокое нежелание жить внутри заданной формы. Быть студентом, потом учителем, потом нормальным советским человеком — все это кажется ему не просто скучным, а почти оскорбительным уменьшением собственной внутренней исключительности. Здесь впервые появляется важная будущая черта: непригодность к обычной роли начинает переживаться как высота над обычной ролью. Иными словами, если я не могу жить как все, значит, возможно, это потому, что «как все» — недостаточно для меня. Такой поворот психологически очень соблазнителен. Он превращает неудачу в принцип. Слабость — в избранность. Распад — в форму

сопротивления. Но сопротивление это было далеко не героическим. Оно все больше переплеталось с зависимостью, с размыванием границ, с тяжелой внутренней неустойчивостью и с накоплением вины, которую невозможно было пережить прямо. Иногда достаточно просто изменить акцент, спрятать главное, выдвинуть удобную деталь на первый план. Позже именно это станет одним из главных навыков его взрослой публичной жизни. Это способ прожить себя так, чтобы не разрушиться от прямого столкновения с собой.

Всматриваясь в страницы архивов и сопоставляя их, я ловлю себя на мысли, что биография Александра Дворкина в период с 1975 по 1977 год — это не просто последовательность событий. Этот короткий двухлетний промежуток стал временем великого надлома. Два года, проведенные в качестве санитара в реанимации травматологического отделения московской больницы на Хорошевке, представляются мне самым мрачным и в то же время формирующим периодом. Середина семидесятых. Окраина Москвы, улица Саляма Адиля. Городская клиническая больница №67 — гигантский конвейер человеческих страданий, куда со всей столицы свозили «тяжелых»: жертв страшных ДТП, падений с высоты и кровавых уличных драк. В коридорах травматологического корпуса всегда пахло смесью хлора, застарелой крови и безнадежности. Именно здесь, в стерильном полумраке реанимации, началась «трудовая биография» молодого Александра Дворкина. Для окружающих он был обычным санитаром, неприметной деталью больничного механизма. Но для тех, кто лежал на каталках, привязанный к аппаратам ИВЛ, он стал воплощением ночного кошмара. Работа в реанимации требует эмоциональной отстраненности, но иногда эта отстраненность перерастает в нечто иное — в ощущение власти над беззащитными телами. Пациенты здесь — лишь безмолвные тела, лишенные воли и права на протест. Для Дворкина эта среда стала идеальной. Свидетельства коллег того периода рисуют портрет человека, чье равнодушие граничило с упоением чужой беспомощностью. Он не просто выполнял обязанности — он практиковал власть.

Особое место в его «практике» занимали манипуляции, к которым санитар не имел ни малейшего законного допуска. Не обладая медицинским образованием и полномочиями, Дворкин самовольно брал в руки шприцы. Эти инъекции не были лечебными — они превращались в изощренный инструмент истязания. Очевидцы

вспоминали, как он с холодным любопытством вводил иглы в тела беспомощных людей, игнорируя правила асептики и элементарное сострадание. Каждое такое «вмешательство» сопровождалось не дежурным спокойствием медика, а садистическим расчетом: игла входила медленно, провоцируя максимальную боль у тех, кто даже не мог закричать.

Параллельно с этой тяжелой работой развивалась и другая сторона его жизни — уход в «Систему», московское хиппи-движение. Это кажется парадоксом: днем — смерть и травмы в больнице, вечером — «цветочный» идеал, длинные волосы и разговоры о свободе. Однако я склонен видеть в этом не поиск гармонии, а форму глубочайшего «морального разложения», как позже сам Дворкин охарактеризует этот период. Опыт хиппи дал ему понимание того, как работают неформальные группы, как создается иллюзия братства, и, что более важно, как легко это братство распадается. Позже он применит этот опыт, чтобы клеймить любые религиозные группы как «деструктивные», перенося на них свое разочарование. В его глазах «секты» стали зеркалом его собственного неудавшегося эскапизма, и его борьба с ними — это бесконечная попытка уничтожить ту часть себя, которая когда-то верила в свободу без обязательств.

С точки зрения клинической психологии, «хорошевский период» Дворкина — это классический пример реализации глубоких внутренних патологий в условиях абсолютной безнаказанности. Его официальный диагноз — «циклотимия», подтвержденный документами московских ПНД, — лишь вершина айсберга. Резкие перепады от апатичной депрессии к вспышкам немотивированной агрессии находили выход в замкнутом пространстве палаты. Здесь прослеживается четкая генетическая связь между его прошлым и будущим: в 70-е он учился контролировать физическое тело через боль, а спустя десятилетия переключился на контроль над разумом через страх. Реанимация ГКБ №67 стала для него школой дегуманизации, где он осознал: любого человека, находящегося в кризисном состоянии, можно превратить в объект манипуляции. Финал этой кровавой интернатуры наступил внезапно. В 1977 году Дворкин стремительно покидает СССР. Официальная биография позже назовет это «эмиграцией по политическим мотивам» и «диссидентским вызовом системе». Однако

детали указывают на иное. Слишком спешным был расчет в больнице, слишком нервным — сбор документов.

Анализ обстоятельств позволяет утверждать: Дворкин не уезжал, он бежал. Жестокость санитары стала чрезмерной даже для суровых реалий советской медицины. Внутреннее расследование больничной администрации или внимание правоохранительных органов к «странной» смертности и травмам в отделении поставили его перед выбором: скамья подсудимых за должностные преступления и истязания или немедленное исчезновение. Выбор был очевиден. Билет в один конец стал для него не актом борьбы за свободу, а спасительной лазейкой, позволившей спрятать грехи Хорошевской больницы в архивах КГБ и памяти запуганных свидетелей. Он уходил, чтобы позже вернуться в новом обличи, сохранив в глубине души ту же холодную страсть к власти над беззащитными. Почему система позволила садисту находиться у постели умирающих? Дворкин уходил, чтобы позже вернуться в новом обличи, сохранив ту же холодную страсть к власти над беззащитными, которую он впервые «продегустировал» в застенках Хорошевского «полигона».

Вынужденный разрыв с родиной закрепил в нем патологический страх перед потерей контроля. Если тебя могут вышвырнуть из страны, из жизни, из твоей собственной биографии, то единственный способ выжить — это самому стать источником силы, способным вышвыривать других. Его «моральное разложение» тех лет было не просто греховностью, о которой он позже будет сокрушаться, а периодом распада старой морали, на месте которой выросла новая, крайне авторитарная этика. Он создал систему влияния, которая позволила ему из жертвы превратиться в преследователя. Я не могу не заметить, как точно этот короткий период подготовил его к роли эксперта, использующего «язык дегуманизации». Пройдя через опыт санитары, он научился говорить о людях как о «пациентах» или «жертвах манипуляции», лишая их субъектности. Пройдя через хиппи-движение, он изучил психологию групп и научился имитировать эмпатию, одновременно презирая «слабость» тех, кто ищет спасения в общинах. Пройдя через допросы КГБ, он перенял методы инквизиторского следствия, которые позже станут основой его «сектоведения». Это были идеальные условия для создания идеолога, чья сила заключается не в любви к истине, а в ненависти к заблуждению. Он увозил с собой не только книги Солженицына и горький опыт

санитара, но и глубокую убежденность в том, что мир полон тайного зла, и только он, прошедший через все круги этого ада, имеет право судить. Размышляя о том, была ли в нем тогда тень «маньяка», я прихожу к выводу, что это была тень человека, который перестал верить в человека. Его будущая антикультовая риторика — это грандиозная проекция его собственных травм. Те, кого он называл «маньяками» в своих лекциях, на самом деле были лишь отражениями его собственного внутреннего демона, рожденного в юности, тишине больничных палат и в дыму хипповских флэтов. Он не стал другим человеком в эмиграции, он лишь нашел легальный и социально одобряемый способ реализовать те импульсы власти и контроля, которые зародились в нем.

Когда появляется возможность эмиграции, она закономерно воспринимается как большой выход. Не случайный отъезд, а почти идеальный побег. Америка возникает не как нейтральное место назначения, а как пространство, где можно начать новую редакцию собственной жизни. Он снова уходит. Но теперь уже из целой страны. Такой побег кажется окончательным. Но в действительности ни один большой внешний побег не освобождает человека от его внутреннего устройства. Архивное интервью 1979 года, с которого всё началось, подтверждает это почти буквально. В нем слышен уже не советский подросток, а молодой эмигрант в Америке. Интонационно это все тот же человек, собранный из бегства, тревоги, опыта крайних состояний и постоянного усилия не дать миру определить его окончательно. Там, где в СССР была жесткая внешняя рамка, в эмиграции появляется огромное пространство для новой самосборки. Можно начать сначала. Можно рассказывать о себе заново. Можно быть уже не школьным неудачником, не советским длинноволосым нарушителем, не студентом, вываливающимся из института, а кем-то другим. Америка становится местом по созданию нового образа. Он еще не занял публичной позиции и не превратился в идеолога контроля. Но внутренне уже происходит важная перестройка: беглец начинает понимать, что новая биография — это не просто шанс спрятаться, остаться безнаказанным, но и шанс сконструировать новую роль.

Глава 4. Америка — начало перезапуска

Март 1977 года стал для Александра Дворкина не просто событием географического перемещения из Советского Союза в Соединенные Штаты, но моментом окончательного разрыва с человеческой эмпатией и началом его долгого восхождения в качестве разработчика деструктивного влияния. Нью-Йорк того времени, задыхающийся от социального хаоса, встретил его декорациями отеля «Люцерн» на Верхнем Вест-Сайде — прибежищем, где граница между бытием и небытием была истончена до предела. Именно здесь, на второй день пребывания, произошел акт его истинной инициации. Свидетельство Дворкина о самоубийстве соседа, пуэрториканца, выбросившегося из окна, лишено малейшего признака шока или сострадания. В его мемуарных записях этот эпизод предстает как застывший кадр высокоскоростной съемки: серое, перекошенное от ужаса лицо, застывший взгляд, встретившийся с его собственным взглядом сквозь стекло, и последующий глухой удар о тротуар. Это не воспоминание о трагедии, а фиксация эстетического триумфа смерти над жизнью. Для психопатического сознания, склонного к грандиозному нарциссизму, этот пролетающий мимо человек стал лишь «американским сувениром», подтверждающим право наблюдателя стоять выше агонии. Здесь рождается его «мастерство некрополя» — способность видеть в чужом распаде не повод для молитвы, а ресурс для собственного самоутверждения. Взгляд самоубийцы, пойманный Дворкиным, стал для него отражением, в котором он увидел не смерть другого, а свою неуязвимость. Этот сниженный порог отвращения к смерти, характерный для серийных деструкторов, в дальнейшем станет его главным инструментом. Он не просто присутствовал при смерти, он начал коллекционировать её, превращая каждое угасание в элемент своего социального капитала.

Его адаптация в Америке протекала под знаком болезненного столкновения «грандиозного Я» с реальностью интеллектуальной элиты, которая видела в нем лишь амбициозного маргинала. Конфликт с Карлом Проффером, главой легендарного издательства «Ардис», является ключом к пониманию того, как Дворкин трансформирует личные поражения в мистические победы через смерть оппонента.

Дворкин утверждал, что его «лингвистический шедевр» — словарь сленга хиппи — был принят Проффером, но издание сорвалось из-за внезапной смерти последнего. Однако анализ писем и свидетельств современников, включая Иосифа Бродского и Сергея Довлатова, рисует иную картину. Проницательный Проффер, обладавший способностью видеть людей насквозь, вероятнее всего, просто распознал в молодом эмигранте графомана и манипулятора. Смерть Проффера от рака в возрасте 46 лет стала для Дворкина идеальным механизмом психологической защиты: вместо признания профессионального фиаско он создает миф о «прерванном триумфе». Здесь отчетливо проявляется его злокачественная зависть — если он не может обладать статусом Проффера, он «присваивает» его через описание болезни и ухода профессора. В его мире смерть врага или холодного покровителя — это не утрата, а трофей, подтверждающий его собственную «избранность». Смерть становится арбитром, устраняющим тех, кто посмел не оценить его гениальность.

Отношения с Сергеем Довлатовым и редакцией газеты «Новый американец» в начале 1980-х обнажили еще более мрачные грани его натуры. Публикация статьи о похищении еврейского мальчика Павла и создании Дворкиным «православной секты» стала для него особым ударом. Обвинения были серьезными: насильственное крещение, избивание матери ребенка, удержание несовершеннолетнего в квартире, где в полумраке горели свечи и висели фотографии ритуалов. Дворкин, отрицая насилие, не отрицал самого факта присутствия Павла в своем пространстве, что в контексте психопрофайлинга указывает на классические паттерны «груминга» и психологического захвата жертвы. Довлатов, как редактор, выставивший Дворкина манипулятором перед лицом всей русской эмиграции, стал объектом его долгой, холодной руминации. Дворкин годами хранит вырезку из этой газеты — жест, свидетельствующий о болезненной фиксации на обиде и готовности к мести. Символично и пугающе то, что Довлатов скончался от сердечной недостаточности через четыре дня после 35-летия Дворкина. В своих поздних текстах Дворкин подает это как «справедливое возмездие» и некую «пророческую» легитимацию своей будущей борьбы. Для психопата смерть критика — это окончательная победа в споре, где последнее слово всегда остается за могильщиком.

Переход в Свято-Владимирскую семинарию предоставил Дворкину доступ к наиболее сакральным и уязвимым зонам человеческого существования. Его «больничная практика» в реанимации, где он посещал Марию Трубецкую, наполнена почти маниакальным любопытством к распаду аристократической плоти. Он смакует её происхождение, словно смерть великой княжны в его присутствии возвышает его самого. Она умерла вскоре после его визита — паттерн «присутствия при финале» становится доминирующим в его американской биографии. Однако центральным эпизодом, вершиной его манипулятивной стратегии, является история болезни и смерти протопресвитера Александра Шмемана.

Шмеман, будучи человеком колоссального духовного авторитета, представлял для Дворкина скрытую угрозу. Его публичное заявление о том, что он не потерпит превращения академии в «притон для наркоманов и гомосексуалистов», было прямым вызовом Дворкину, чье прошлое было насыщено именно этими элементами. Он описывает процесс угасания Шмемана с пугающей детализацией: как энергичный лидер превращался в немощного старика, как он помогал ему облачаться, поддерживая за локоть — жест, который в его восприятии был не актом помощи, а актом обладания ослабленным объектом. В его описании похорон нет скорби, там царит «Пасхальная радость». Дворкин буквально светится энергией, три дня проводя у гроба без тени усталости — это классическая подпитка психопата, окончательно нейтрализовавшего «моральное зеркало». Тот, кто мог осудить или разоблачить его на исповеди, теперь безмолвен, а его авторитет присвоен Дворкиным через статус «любимого ученика».

Особое внимание заслуживает гипотеза о «темных» интересах Дворкина в области токсикологии и химии. В личных мемуарах «Моя Америка» рассыпаны специфические моменты, которые сложно списать на простое любопытство. Упоминание о деде, сидевшем «за химией», звучит как семейное посвящение в знание о ядах. Его детальные рассуждения о действии бензодиазепинов, в частности седуксена, его сочетании с опиоидами и канцерогенных рисках, выдают в нем человека, глубоко понимающего механизмы отложенной смерти. Он прямо пишет о знаниях веществ, которые «действуют через год». Эпизод в Германии, где он с жесткой настойчивостью добивался покупки борной кислоты в аптеках, игнорируя предупреждения о том, что это сильный яд, выглядит как прелюдия к инструментальному использованию этих знаний. Борная

кислота, будучи общеклеточным ядом без вкуса и запаха, идеально вписывается в арсенал «латентного убийцы», предпочитающего методы, имитирующие естественный распад. Рак легких у Шмемана, развившийся стремительно и сопровождавшийся «странными головокружениями», в контексте беспрепятственного доступа Дворкина к быту и медикаментам наставника, вызывает обоснованные подозрения. В криминалистике существует понятие «скрытой похвальбы» — когда преступник не может признаться прямо, но оставляет в текстах намеки на свою власть над жизнью и смертью. Описание Дворкиным смерти своих покровителей как «своевременной» и «пророческой» является именно таким маркером. Он позиционирует себя не просто свидетелем, а невидимым арбитром, знающим, когда именно должна захлопнуться ловушка судьбы.

Его психопатическая сущность проявляется в полной эмоциональной диссоциации. Он описывает физические страдания Шмемана — тошноту после химиотерапии, потерю волос, слабость — с холодным интересом исследователя. В этом нет сопереживания, лишь триумф того, кто остается стоять, когда титаны падают. Американский период стал для него «исследовательским центром» по конвертации чужой агонии в личное влияние. Он научился использовать смерть как инструмент социальной инженерии, создавая вокруг себя ореол «человека у гроба», который всегда оказывается рядом в момент финального вздоха. История с Павлом (из статьи Довлатова) и последующее создание сектантских структур под видом борьбы с ними — это лишь расширение того контроля, который он тренировал в госпиталях и алтарях Нью-Йорка. Он понял, что страх смерти и сама смерть являются абсолютными источниками власти в мире, потерявшем ориентиры.

В романе Аркадия Ровнера «Калалацы» представлена детальная биография Александра Дворкина, основанная на личных воспоминаниях тех времен. В романе фигура Кости Лопухова выступает как точный прототип Дворкина. Ровнер, будучи глубоким мистиком, увидел в образе Лопухова ту самую «черную харизму» и манию контроля, которую Дворкин позже назовет борьбой с сектами. Лопухов в «Калалацах» — это не просто хиппи, это мастер пограничных состояний, проповедующий «русскую йогу» как инструмент подавления воли окружающих. Контраст между самоописанием

Дворкина в «Моей Америке» как «искателя истины» и ровнеровским Лопуховым обнажает истинную суть субъекта: там, где Дворкин рисует путь к Богу, Ровнер описывает путь к абсолютной власти над человеческим распадом, возможно, сам того до конца не подозревая. Лопухов — это тень, которая всегда стоит за Дворкиным, напоминая о том, что его «духовные поиски» в хипповских коммунах были не поиском света, а экспериментом по созданию иерархической структуры, где «кайф» и смерть были неразрывно связаны.

Интересной оказалась и фигура самого Аркадия Борисовича Ровнера, которая представляет собой одно из наиболее загадочных явлений в истории русского метафизического андеграунда второй половины двадцатого столетия, выступая связующим звеном между герметичными интеллектуальными кружками Москвы шестидесятых годов и западной эзотерической традицией. Рожденный в Одессе в 1940 году и сформировавшийся в атмосфере культурного многообразия Тбилиси, Ровнер принес в московскую интеллектуальную среду особый тип южного, витального мистицизма, который впоследствии нашел отражение в его философских изысканиях и прозе. Его путь в советской столице был тесно связан с обучением на философском факультете МГУ, однако подлинное образование он получал в неформальных объединениях, самым известным из которых стал Южинский кружок, собравший вокруг Юрия Мамлеева и Евгения Головина цвет «неподцензурной» мысли того времени. Именно здесь, в тесных комнатах коммунальных квартир, ковалась идеология метафизического реализма, отрицавшая советскую обыденность ради поиска прорывов в иные состояния сознания.

В 1973 году Аркадий Ровнер принимает решение об эмиграции в Соединенные Штаты Америки, что стало началом масштабного проекта по интеграции русского опыта в мировой контекст. Оказавшись в Нью-Йорке, он быстро влился в академическую и мистическую среду, поступив в докторантуру Колумбийского университета и начав преподавать курсы по патристике и восточным религиям. Однако центральным вектором его деятельности в Америке стало глубокое погружение в традицию «Четвертого пути», заложенную Георгием Гурджиевым. Ровнер, еще в 1965 году познакомившийся с гурджиевскими идеями в Москве, в США установил тесный контакт с главой Американского гурджиевского фонда Лордом Пентландом. Их взаимодействие

носило характер глубокого ученичества и интеллектуального партнерства, при этом Пентланд видел в Ровнере человека, способного перевести эзотерические смыслы на язык современной культуры. Это сотрудничество открыло Ровнеру двери в закрытые архивы и позволило общаться с прямыми учениками Гурджиева и Успенского в Париже и Лондоне, что укрепило его статус как одного из ведущих экспертов и практиков в этой области.

Издательская деятельность Ровнера в Нью-Йорке, в частности основание издательства «Gnosis Press» и выпуск двуязычного журнала «Gnosis», стала уникальным прецедентом создания просветительского моста между Россией и Западом. Журнал «Гнозис» не был типичным эмигрантским изданием, заикленным на политической борьбе с режимом; на его страницах соседствовали тексты классиков мистицизма, американская поэзия и произведения представителей «третьей волны» русской эмиграции. Этот проект позволял Ровнеру транслировать идеи «внутреннего делания» широкой аудитории, одновременно сохраняя верность принципам эзотерического андеграунда.

Тем не менее деятельность Ровнера в США не избежала споров и подозрений, характерных для эпохи холодной войны. В эмигрантской среде периодически возникали слухи о его возможных связях со спецслужбами, подпитываемые его необычайно высокой мобильностью и способностью организовывать масштабные проекты без явных источников финансирования. Несмотря на отсутствие прямых доказательств работы на ЦРУ или иные ведомства, фигура Ровнера всегда была окружена ореолом секретности, что лишь подчеркивало его роль как посредника между различными мирами — политическими, культурными и мистическими. Его подлинные взгляды, сочетавшие в себе православие, гурджиевскую практику и элементы «фулологии» (науки о священных дураках), делали его крайне неудобным для однозначной классификации, превращая в своего рода интеллектуального провокатора, работающего на грани дозволенного.

Именно в этой насыщенной эзотерикой и интеллектуальным напряжением атмосфере Нью-Йорка конца семидесятых годов произошло знакомство Аркадия Ровнера с молодым Александром Дворкиным. Будущий главный борец с сектами в России в то время был лишь одним из многих эмигрантов, покинувших СССР в поисках

самореализации, но случайно ли было это знакомство? Дворкин, обладавший подготовкой хиппи и опытом участия в неформальных движениях типа московской «Системы», нашел в Ровнере наставника, способного структурировать его хаотичный опыт. Период их сближения в эмигрантской среде был ознаменован тесным взаимодействием в рамках гурджиевских групп и совместными интеллектуальными поисками. Ровнер оказал значительное влияние на формирование личности Дворкина, привив ему интерес к истории религии и методам психологического воздействия, которые впоследствии, в результате парадоксальной трансформации, стали инструментами Дворкина в его антисектантской деятельности. Важно понимать, что ранняя биография Дворкина, пронизанная духом психоделической культуры и мистического поиска, была не просто этапом его жизни, но тем фундаментом, на котором выстроилась его идеологическая позиция.

Литературным памятником этого периода и ключевым документом для понимания истоков формирования обоих деятелей стал роман «Калалацы». Написанная в Москве в начале семидесятых и впервые опубликованная в Париже в 1980 году, эта книга представляет собой уникальную летопись московского и эмигрантского андеграунда. «Калалацы» — это своего рода метафизический репортаж о жизни людей, добровольно выбравших социальную изолированность. В труде Ровнер использует технику «плавающего сюжета», где границы между реальностью и мистическим видением размыты, что идеально отражает сознание поколения, воспитанного на самиздате и запрещенных практиках. Книга описывает среду, где философы, хиппи и искатели истины сосуществуют в пространстве «пограничного состояния», пытаясь найти выход из идеологического тупика советской системы через погружение в глубины эзотерического знания. Центральной фигурой романа является персонаж по имени Костя Лопухов, в котором современники и исследователи безошибочно узнают Александра Дворкина. Образ Лопухова служит детальным литературным портретом Дворкина в его хипповскую молодость, когда он был активным участником движения «Волосы» и адептом «Системы». Через призму этого персонажа Ровнер фиксирует важнейшие черты раннего Дворкина: его фанатичную преданность выбранному пути, склонность к максимализму и глубокую вовлеченность в оккультные практики того времени. Костя Лопухов в «Калалацах» проходит через круги московских тусовок,

эмиграционные лагеря и нью-йоркские эзотерические собрания, демонстрируя тип личности, находящейся в постоянном, почти болезненном поиске авторитета и структуры. Анализ этого персонажа позволяет увидеть Дворкина не как статичную фигуру «сектоведа», а как продукт сложной эволюции. Его участие в пацифистских акциях и неформальных объединениях, описанное в романе, проливает свет на психологические механизмы, которые позже привели его к православному фундаментализму — по сути, это была замена одной тотальной системы смыслов на другую, более жесткую и институционально защищенную. Роман оказывается критически важным инструментом для деконструкции мифа об Александре Дворкине как о человеке, чья деятельность всегда была монолитно связана с официальным православием. Текст Ровнера обнажает корни методов Дворкина, показывая, что его глубокое знание внутренней механики эзотерических групп проистекает из личного опыта пребывания внутри этих структур. Трансформация Лопухова-Дворкина из свободного хиппи в «православного инквизитора» выглядит в контексте произведения как закономерный, хотя и трагический итог. Ровнер, будучи тонким психологом, сумел зафиксировать тот момент, когда поиск превращается в идеологическую одержимость. Понимание фигуры Кости Лопухова как прототипа Дворкина лишает последнего возможности апеллировать к своей биографии как к безупречному пути воина веры, возвращая его в контекст живой, противоречивой и часто «темной» истории интеллектуальных исканий конца двадцатого века. Для исследователя истории идей и социологии религии связка Ровнер — Дворкин — Лопухов представляет собой бесценный материал для изучения того, как идеи русского мейнстрима трансформировались при столкновении с западной реальностью и как они впоследствии вернулись в Россию в совершенно ином качестве. Аркадий Ровнер до конца своих дней в 2019 году оставался верен принципам широкого эзотерического диалога, основав Институт культуры состояний и продолжая развивать гурджиевское наследие.

Раз уже коснулись истории Ровнера, то теперь хотелось вернуться к биографии Георгия Ивановича Гурджиева, чтобы вспомнить его подлинную судьбу и, возможно, найти новые интересные детали для книги. Он вошел в историю двадцатого века не просто как эзотерический учитель, но как архитектор одной из самых сложных и

манипулятивных систем подавления личности, облаченной в одежды духовного освобождения. Его фигура, окутанная тщательно сконструированным туманом мистификаций, представляет собой идеальный объект для деконструкции, поскольку за фасадом «поисков объективного знания» скрывается расчетливый кукловод, использовавший слабости европейской интеллигенции для построения личной империи власти.

Исследование истинной идентичности Гурджиева требует отказа от агиографических восторгов его последователей и перехода к жесткому анализу его методов, которые современная психология и сектоведение классифицируют как деструктивные. Личность Гурджиева — это сложный сплав кавказского авантюризма, восточного суфийского лукавства и глубокого понимания механики человеческой психики, направленного не на спасение души, а на ее полную инкорпорацию в структуру, где воля учителя становится единственным источником реальности для ученика.

Сама концепция «хитрого святого», которую Гурджиев примерял на себя с явным удовольствием, служила ему щитом против любой рациональной критики. Любое проявление его грубости, алчности или аморального поведения интерпретировалось приверженцами как «сакральная провокация» или «метод шокового пробуждения». Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что эти маски были лишь инструментами социальной инженерии. Гурджиев сознательно заметал следы своей биографии, смешивая реальные факты с абсурдными анекдотами и легендами о «Всемирном братстве Сармунг», существование которого не подтверждено ни одним независимым источником. Эта стратегия «двоящегося образа» позволяла ему оставаться неуловимым для традиционного анализа, создавая вокруг своей персоны ореол сверхчеловека, стоящего по ту сторону добра и зла, что фактически развязывало ему руки для любых манипуляций в стенах его Института.

Институт гармоничного развития человека, основанный в поместье Приэре в Фонтенбло, стал первым масштабным экспериментом по созданию закрытой экосистемы контроля. Гурджиев выстроил там иерархию, основанную на полном эмоциональном и физическом истощении адептов. Техника «шоков», которую он декларировал как средство преодоления «механистичности» человека, на практике

оборачивалась методичным разрушением психологических защит личности. Учеников заставляли выполнять бессмысленную тяжелую работу, лишали сна и подвергали публичным унижениям. В этой атмосфере тотальной неуверенности Гурджиев выступал как единственный медиатор между страдающим субъектом и призрачной надеждой на «пробуждение». Подавление воли достигалось через создание ситуации постоянного когнитивного диссонанса, когда абсурдные приказы учителя должны были выполняться с фанатичной преданностью под предлогом борьбы с собственным эго.

Важнейшим инструментом в арсенале Гурджиева было использование физического изнурения в сочетании с психологическим прессингом. Его знаменитые «движения» или священные танцы, требующие неестественной концентрации и сверхчеловеческих усилий, служили не только для «гармонизации», сколько для введения учеников в состояние транса и повышенной внушаемости. В такие моменты критическое мышление отключалось, и человек превращался в чистый холст, на котором «мастер» мог рисовать любые ментальные конструкции. Роль кукловода проявлялась здесь в полной мере: Гурджиев буквально дирижировал телами и эмоциями своих последователей, превращая их в живые автоматы, парадоксальным образом убеждая их в том, что именно так они обретают настоящую свободу. Это был высший пилотаж манипуляции — заставить раба верить, что его оковы являются ключами к небесному царству.

Атмосфера в Призре характеризовалась не только тяжелым трудом, но и специфическими ритуалами, такими как «тосты за идиотов», где под принуждением к употреблению алкоголя и в присутствии учителя люди должны были раскрывать свои самые потаенные страхи и слабости. Эти данные затем использовались Гурджиевым для дальнейшего давления на конкретных лиц. Тотальный контроль распространялся и на финансовую сферу: Гурджиев мастерски эксплуатировал состоятельных последователей, превращая их ресурсы в топливо для своего проекта, при этом декларируя аскетизм, который сам он в личной жизни часто игнорировал. Слухи о «странных происшествиях», душевных расстройствах и даже самоубийствах в стенах Института замалчивались, но они ярко иллюстрируют ту цену, которую платили ученики за близость к «источнику истины».

Теоретический фундамент учения Гурджиева, известный как «Четвертый путь», при глубоком анализе предстает не как путь духовного восхождения, а как идеологическое обоснование необходимости внешнего управления человеческой жизнью. Центральный тезис о том, что человек является «машиной», лишенной души, сознания и воли, служит идеальной прелюдией к установлению диктатуры учителя. Если человек изначально ничтожен и спит, то он не имеет права на самостоятельные решения. Гурджиевский антропологический пессимизм постулирует, что «самостоятельное пробуждение невозможно», а значит, единственным шансом на спасение является беспрекословное подчинение тому, кто уже проснулся. Таким образом, «Четвертый путь» становится технологией деперсонализации, где индивидуальное «Я» объявляется фикцией, подлежащей уничтожению ради формирования некоего «сущностного ядра», полностью лояльного системе. Инструментарий этой системы включал в себя специфический язык, создающий барьер между «посвященными» и остальным миром. Термины вроде «самовоспоминания», «буферов» и «луча творения» формировали закрытую семантическую среду, в которой адепт терял связь с общепринятой логикой и моралью. Происходило замещение личной этики групповыми нормами, продиктованными Гурджиевым. Любое сомнение в правильности действий учителя интерпретировалось как работа «механических центров» или «сопротивление эго», что лишало ученика возможности рационально оценивать ситуацию. В этой схеме «Работа» (как называли свое учение последователи) превращалась в самодостаточный механизм власти, где целью было не достижение результата, а само пребывание в состоянии бесконечного ученичества под бдительным оком мастера. Критический взгляд на космологию Гурджиева также выявляет ее манипулятивную природу. Утверждения о том, что человечество является «пищей для Луны» и что большинство людей — это просто биологический мусор, лишенный шанса на бессмертие, создавали у последователей ощущение экзистенциального ужаса. Этот страх был мощнейшим стимулом для верности группе: только внутри организации, под защитой Гурджиева, человек мог надеяться избежать печальной участи «космического удобрения». Подобная эксплуатация базовых человеческих страхов является классическим признаком тоталитарной идеологии, которая сначала лишает субъекта ценности, а затем предлагает ему суррогатную идентичность в обмен на полную покорность.

Особый интерес представляют утверждения о связях Гурджиева с политическими режимами первой половины двадцатого века, которые он сам активно подпитывал. Миф о том, что Гурджиев был одноклассником Иосифа Джугашвили по Тифлисской семинарии и позже консультировал его по вопросам управления массами, является частью его стратегии самопрезентации как теневого властелина мира. Еще более зловещими выглядят истории о его контактах с нацистским движением через фигуру Карла Хаусхофера. Хаусхофер, идеолог геополитики и наставник Рудольфа Гесса, якобы обучался у Гурджиева на Тибете и именно от него заимствовал символ свастики, которую Гурджиев советовал инвертировать для высвобождения разрушительной энергии. Хотя многие из этих связей остаются не имеют строгих документальных доказательств, сама готовность Гурджиева приписывать себе влияние на Гитлера и Сталина говорит о его глубокой амбициозности и приверженности идеям власти над «человеческим стадом». Гурджиев неоднократно заявлял, что его цель — влиять на ход истории через «людей влияния», и его интерес к Третьему рейху вполне укладывался в логику поиска наиболее эффективных инструментов контроля над реальностью. Окультиные интересы нацистской элиты, поиски Шамбалы и вера в существование тайных тибетских учителей создавали благоприятную почву для деятельности такого мистификатора. Гурджиев мастерски играл на этих ожиданиях, позиционируя себя как хранителя древних знаний, способных дать власть над народами. В этом контексте его система предстает не как попытка спасти мир от катастрофы, а как попытка оседлать эту катастрофу, используя хаос войны и революций для продвижения собственных эзотерических амбиций.

Допустим, даже если его реальное влияние на политических диктаторов было преувеличено, психологическое родство его методов с тоталитарными практиками того времени неоспоримо. Политические тени Гурджиева простираются и на его деятельность в России в период революции. Его стремительные перемещения через фронты Гражданской войны с группой преданных учеников, умение находить общий язык с представителями любых властей и неизменное наличие ресурсов указывают на него как на мастера социальной маскировки. Он рассматривал политические потрясения как «планетарные шоки», в которых индивидуальное сознание становится наиболее пластичным и готовым к переформатированию. Для Гурджиева не существовало моральных преград в выборе союзников; его интересовала только

эффективность механизмов управления и возможность реализации собственного проекта в глобальном масштабе. Эта «этика целесообразности» делает его фигуру прямой предшественницей современных психотехнологий манипуляции массовым сознанием.

Еще при жизни Гурджиева наметились серьезные трещины в среде его ближайших учеников, самой значимой из которых стал разрыв с Петром Демьяновичем Успенским. Успенский, выдающийся философ и математик, во многом создавший интеллектуальный фасад «Четвертого пути», первым осознал «темную сторону» своего учителя. Он пришел к выводу, что Гурджиев стал «загрязненным источником», а его методы превратились в самоцель, ведущую к безумию и моральному разложению. Раскол между Гурджиевым и Успенским был не просто личным конфликтом, а столкновением стремления к знанию и жажды абсолютной власти. Успенский пытался систематизировать учение, изъяв из него элемент личного произвола диктатора, но в итоге сам создал структуру, во многом повторявшую авторитарные черты оригинала. После ухода Гурджиева руководство «Работой» перешло к Жанне де Зальцманн, которая предприняла масштабные усилия по институционализации учения. Были созданы гурджиевские фонды, которые превратили наследие «хитрого святого» в закрытую корпорацию. Произошла «стерилизация» образа учителя: из официальных биографий исчезли упоминания о его многочисленных внебрачных детях от учениц, о его жестких финансовых манипуляциях и о неоднозначных политических связях. Гурджиев был превращен в икону «объективного разума», а сама «Работа» стала напоминать элитарный закрытый клуб, где под видом саморазвития культивируется чувство превосходства над «спящим большинством». Эта закрытость и иерархичность структуры способствовали сохранению методов психологического контроля, которые Гурджиев заложил в основание своей системы.

Превращение поиска смысла в бесконечное выполнение упражнений и служение организации является логическим завершением проекта Гурджиева. Как отмечает критика, «Работа» успешно выживает не благодаря эффективности своих методов в достижении просветления, а благодаря их эффективности в создании долгосрочной психологической зависимости у адептов, которые боятся покинуть систему, внушившую им их изначальную никчемность. Глубокий аналитический разбор фигуры Гурджиева

невозможен без учета работ исследователей, рассматривающих его деятельность с философских и социологических позиций. Аркадий Ровнер в своих трудах подробно анализирует «двоящийся образ» учителя, указывая на то, что Гурджиев сознательно конструировал себя как парадокс. Ровнер подчеркивает, что Гурджиев был мастером «сакрального позора», намеренно вызывая у окружающих шок и отвращение, чтобы разрушить их ожидания и тем самым получить власть над их восприятием. С точки зрения Ровнера, эта стратегия позволяла Гурджиеву оставаться вне критики: на любые обвинения в шарлатанстве он мог ответить, что это лишь часть его грандиозного «экспериментального театра». Однако за этой игрой масок наблюдается трагедия личности, которая сама оказалась заложницей собственного демонического образа. Синтез этих взглядов позволяет увидеть Гурджиева не как мудреца, принесшего древние знания на Запад, а как талантливого инженера человеческих душ, создавшего систему, способную перемалывать личность в угоду интересам структуры. Исследование «темной стороны» Гурджиева раскрывает механизмы, с помощью которых миф о духовном поиске становится инструментом реального порабощения. Гурджиевская система, несмотря на ее интеллектуальную изощренность, остается глубоко антигуманистической в своей основе. Декларируя цель развития «полного человека», она на деле стремится к созданию идеального исполнителя, чья индивидуальность принесена в жертву «великой цели». Снятие масок с этого образа открывает перед нами не свет истины, а холодную расчетливость человека, который превратил духовный поиск в самую совершенную форму диктатуры.

Наиболее глубоким и тщательно скрываемым пластом в идеологии Дворкина является его связь с наследием Георгия Гурджиева. Официально Дворкин позиционирует себя как яростный критик любых эзотерических течений, однако его собственный инструментальный поразительным образом отзеркаливает техники «Четвертого пути». Для него Гурджиев является эталонным примером гуруманипулятора, который использовал эзотерическую риторику как дымовую завесу для удовлетворения своих амбиций и жажды контроля.

Внимательное изучение ранних увлечений Дворкина, его участия в журнале «Гнозис» и интереса к суфийским практикам позволяет выдвинуть гипотезу: Дворкин не победил в себе «сектантское» сознание, он его институционализировал. Гурджиевские

методы психологической ломки, разрушения привычного «я» и создания жесткой иерархии зависимости были перенесены Дворкиным в сферу антикультистской деятельности. Его Центр Иринейя Лионского функционирует по законам закрытой эзотерической группы, где доступ к «истине» монополизирован лидером, а внешнее окружение воспринимается как враждебная и невежественная среда. Феномен «антисектантства» по Дворкину — это гурджиевская работа «в обратную сторону». Если Гурджиев предлагал пробуждение через шок, то Дворкин использует шок и запугивание для того, чтобы загнать человека в жесткие рамки контролируемой религиозности. Использование психологического давления при «депрограммировании» жертв, которое Дворкин активно пропагандировал, является ничем иным, как применением тех самых техник контроля сознания, в которых он обвиняет своих оппонентов. Борьба с манипуляцией сама становится предельной формой манипуляции. Дворкин выступает здесь как темный двойник Гурджиева, использующий мистическую дисциплину для создания бюрократического аппарата подавления.

Кроме того, проводя другие параллели — между деятельностью Дворкина и практиками тоталитарных режимов тридцатых годов прошлого века, мы обнаруживаем пугающее сходство в лингвистических и социальных стратегиях. Создание Четвертого Рейха в сфере совести начинается не с концлагерей, а с дегуманизации через слово. Термин «тоталитарная секта», введенный Дворкиным в широкий оборот, лишен научного содержания, но обладает колоссальным зарядом социальной стигматизации. Это современный аналог «желтой звезды», которую насильственно прикрепляют к одежде любого, кто осмеливается искать Бога вне одобренных списков. Как только человек или группа помечаются этим ярлыком, они фактически выводятся за пределы правового поля и общечеловеческой морали.

Лексикон Дворкина изобилует медицинскими и биологическими метафорами, которые были излюбленным приемом пропаганды Третьего Рейха. Религиозные меньшинства описываются как «раковые опухоли», «вирусы», «паразиты на теле народа» или «психическая зараза». Подобная терминология преследует одну цель — вызвать у обывателя инстинктивное брезгливое отторжение и страх перед «инфекцией», подготавливая почву для «санитарных мероприятий». Создание «духовных гетто», где представители неудобных конфессий подвергаются остракизму и

лишаются гражданской защиты, является логическим завершением этой стратегии. Дворкин выстроил систему сегрегации, в которой право на существование определяется не законом, а лояльностью к его личной интерпретации традиции. Это и есть пришествие тоталитаризма в новой обертке, где роль штурмовиков играют ангажированные эксперты и сотрудники специализированных центров.

Особое внимание привлекает работа Дворкина в структурах «Голоса Америки» и радио «Свобода». В те годы эти организации были не только медийными площадками, но и центрами глубокой психологической и идеологической подготовки кадров для работы в условиях холодной войны. Здесь Дворкин отшлифовывал искусство манипуляции массовым сознанием, приемы ведения информационной войны и, что более важно, научился упаковывать специфические интересы в обертку защиты прав и истинных ценностей. Помимо этого, за фасадом успешной интеграции в западное сообщество скрываются тревожные свидетельства. Слухи о внезапных смертях и трагических инцидентах в кругах, с которыми соприкасался будущий сектовед, создают вокруг его американского периода атмосферу тяжелого нуара. Были ли эти смерти лишь случайным фоном или результатом столкновения с темными сторонами сообществ, которые Дворкин изучал изнутри, остается предметом для глубокой рефлексии. Возможно, именно там, в тени нью-йоркских и вашингтонских переулков, родилось убеждение в том, что религия — это прежде всего зона повышенной опасности, требующая не понимания, а жесткого полицейского надзора.

Одним из самых парадоксальных моментов в биографии Дворкина является его тесная связь с протопресвитером Иоанном Мейендорфом. Фигура Мейендорфа в православном мире имеет почти титанический масштаб — это интеллектуал мирового уровня, тонкий знаток патристики и византист, чье имя ассоциируется с богословской глубиной и академической честностью. Каким образом этот просвещенный пастырь разглядел потенциал в эмигранте с неустойчивым бэкграундом? Мейендорф стал для Дворкина «охранной грамотой», тем интеллектуальным щитом, который позволил ему в будущем игнорировать любую критику. Статус ученика Мейендорфа и защита диссертации об Иване Грозном стали для Дворкина актом символического посвящения.

Разбирая его научную работу, посвященную тирану как религиозному типу, невозможно отделаться от ощущения, что автор описывал собственную будущую методологию. Историческая фигура первого русского царя Ивана IV Грозного на протяжении столетий остается своего рода герменевтическим полем, на котором сталкиваются концепции государственности, морали и веры. Однако труд Александра Дворкина «Иван Грозный как религиозный тип» выделяется в этом ряду особым, почти детальным вниманием к внутреннему миру монарха. В своем исследовании, выросшем из докторской диссертации, Дворкин предпринимает попытку деконструкции образа царя не просто как политического деятеля или тирана, а как специфического религиозного феномена. Автор уходит от привычного разделения правления Грозного на «благостный» период реформ и «безумный» период опричнины, утверждая внутреннее единство его личности. Основной тезис работы заключается в том, что все действия Ивана IV — от дипломатической переписки до массовых казней — были глубоко укоренены в его религиозных заблуждениях и специфическом понимании теократии. Дворкин детально анализирует, как убежденность царя в сакральности собственной власти, практически тождественной воле Божьей, порождала патологические формы государственного управления. Особое внимание автор уделяет тому, как Грозный заимствовал элементы западноевропейской ренессансной модели власти, создавая гибрид византийского деспотизма и макиавеллистского прагматизма, что, по мнению Дворкина, предвосхитило тоталитарные практики будущего. Однако анализ труда будет неполным без обращения к личности самого автора, чья биография в последние годы также является предметом громких обсуждений. Интеллектуальная честность требует рассмотреть гипотезу о психологической проекции, где образ исследуемого монарха становится своего рода отражением для самого исследователя.

В своей книге Дворкин с поразительной проницательностью описывает «духовные заблуждения» царя, его одержимость поиском врагов и склонность к навешиванию ярлыков ереси на любое проявление несогласия. При этом деятельность самого Дворкина в качестве главного «сектоведа» страны часто подвергается критике за те же самые черты: агрессивную риторику, использование стигматизирующих терминов вроде «тоталитарная секта» и создание атмосферы религиозной нетерпимости. Не является ли ожесточенная борьба Дворкина с новыми религиозными движениями

современным изводом опричнины, где функции «псов государевых» выполняют антисектантские центры, а роль «крамольных бояр» — инакомыслящие верующие? Анализируя паранойю Ивана Грозного, Дворкин фактически описывает механику сознания, которое видит мир как поле битвы с тайными, разрушительными силами. Но именно эта бинарная логика — «мы против них», «чистота веры против деструктивного влияния» — является стержнем всей публицистической деятельности Дворкина.

Сходство между объектом исследования и субъектом становится еще более явным, если обратить внимание на детали. Грозный в интерпретации Дворкина — это человек, чей внутренний хаос компенсируется стремлением к абсолютному внешнему контролю. Личность царя патологически деформирована, он страдает от недоверия к ближним и жестокости, которую сам себе оправдывает высшими целями. Сопоставляя это с клиническим бэкграундом Дворкина — его «патологическим развитием личности» и параноидальными симптомами —, можно предположить, что работа над книгой об Иване IV была для него формой саморефлексии, сознательной или бессознательной попыткой рационализировать собственные внутренние конфликты. Описывая безумие царя как «религиозный тип», исследователь фактически легитимизирует возможность существования расстройства внутри религиозного сознания, превращая клинический диагноз в богословскую категорию. Это придает его труду мрачное и глубокое измерение: история царя-тирана становится декорацией для драмы самого автора, сражающегося со своими «демонами» через обличение чужих.

Феномен проекции в академической среде не является редкостью, однако в случае с Дворкиным он приобретает масштаб институционального влияния. Если Иван Грозный строил свою «опричную утопию» на страхе перед внутренним врагом, то современное антисектантское движение, идеологом которого является Дворкин, выстраивает социальную политику на аналогичных принципах. Методы «борьбы», которые исследователь приписывает Грозному — поиск скрытых заговоров, подозрительность к иностранному влиянию, агрессивная защита «истинной традиции» — удивительным образом коррелируют с методологией самого Дворкина. Вопрос о том, где заканчивается исторический Иван IV и начинается личность Александра Дворкина, остается открытым. Возможно, именно наличие собственного психиатрического опыта позволило автору так тонко прочувствовать и описать патологические корни опричнины,

но этот же опыт ставит под сомнение беспристрастность его выводов. В конечном итоге книга «Иван Грозный как религиозный тип» предстает перед читателем не только как ценный вклад в историографию, но и как уникальный человеческий документ. Психиатрический бэкграунд автора не обнуляет научной ценности труда, но добавляет ему слой трагической достоверности. Мы видим не просто историка, изучающего архивы, а человека, который знает природу страха, паранойи и духовного одиночества изнутри. Эта внутренняя сопричастность теме делает анализ Дворкина пугающе убедительным: он описывает мир Грозного не как сторонний наблюдатель, а как тот, кто сам блуждал в подобных лабиринтах разума. Трагедия Ивана IV в изложении Дворкина — это трагедия личности, не сумевшей отличить собственную болезнь от Божественного призвания, и в этом обличении слышится предостережение, которое автор, возможно, адресует и самому себе.

Необходимо признать, что синтез исторического анализа и биографического контекста автора открывает новые горизонты для понимания религиозной жизни России. Если правление Грозного действительно было «религиозным типом», отмеченным печатью расстройства, то и современные методы защиты веры могут нести в себе те же родовые травмы. Труд Дворкина, благословленный в свое время Мейендорфом, остается важным напоминанием о том, как легко религиозная ревность может превратиться в инструмент разрушения, когда она подпитывается внутренними страхами и клинической подозрительностью. Личность исследователя, отмеченная сложными диагнозами и годами борьбы с психическими расстройствами, придает его работе статус экзистенциального манифеста, в котором история государства и история болезни переплетаются в неразрывный пучок, заставляя нас по-новому взглянуть на природу власти и границы человеческой психики. Исследование механизмов власти, основанной на страхе и сакрализации насилия, стало для Дворкина не академическим упражнением, а оперативным руководством. Мейендорф, сам того не осознавая, всячески поддерживал человека, который впоследствии заменит богословский диалог на административный окрик. Эта преемственность позволила Дворкину вернуться в Россию не как частному лицу, а как «варягу-эксперту», обладающему печатью высшего авторитета, что мгновенно открыло перед ним двери церковных и государственных кабинетов.

Эта внутренняя предрасположенность к диктату нашла идеальную почву в геополитическом контексте 1970-х годов. Именно в этот период в Соединенных Штатах наблюдался странный и на первый взгляд необъяснимый синхронизм: активация «нацистских счетов» — не только в финансовом, но и в идеологическом смысле — зарождение агрессивной индустрии антикультизма. В недрах европейских и американских «защитных» организаций кристаллизовалось наследие тех, кто когда-то разрабатывал методы психологической войны в Третьем рейхе. Такие фигуры, как Вальтер Кюннет с его апологетическими центрами или Фридрих Хаак, напрямую связывали нацистский опыт дегуманизации «иных» с новыми формами контроля над сознанием. Зарождение организации Cult Awareness Network (CAN) в середине 70-х годов стало точкой концентрации этих темных энергий. Под маской спасения молодежи от «промывания мозгов» была запущена машина депрограммирования — легализованного насилия, включающего похищения, избиения и психическую ломку. Дворкин, оказавшись в этой среде, впитал данные методы не как временную меру, а как совершенную технологию подавления воли, которая идеально легла на его параноидальную структуру личности. Роль Дворкина в этой глобальной сети быстро эволюционировала от рядового сотрудника до стратегического методолога. Пройдя школу жесткого американского депрограммирования и наладив связи с одиозными фигурами вроде Йоханнеса Огарда, он осознал, что грубое физическое насилие менее эффективно, чем институциональный диктат. Его гений манипуляции проявился в способности перевести практики американских «охотников за сектами» на язык государственно-церковной бюрократии. Вернувшись в Россию, он привез готовую модель уничтожения и подавления, где антикультовые центры становились прообразами идеологических трибуналов. Он стал глобальным кукловодом страха, превратив антикультизм в масштабную технологию, позволяющую любому авторитарному режиму стигматизировать и уничтожать нежелательные сообщества под предлогом защиты «психического здоровья нации».

Фигура Александра Дворкина стала точкой пересечения западных технологий психологического влияния, глубокой личной травмы и виртуозного использования теологического авторитета для достижения политических целей. Анализ данного феномена требует выхода за рамки простой биографической справки, заставляя нас

погрузиться в исследование того, как методы тоталитарного контроля прошлого века трансформировались в современный инструментарий «духовной безопасности». Вопрос о том, как вчерашний эмигрант, чья жизнь в Соединенных Штатах окутана туманом странных совпадений и психиатрических коллизий, смог монополизировать право на определение «правильной» веры, остается центральным для понимания механизмов формирования современного конформизма.

Вернувшись в Россию в 1992 году, Александр Дворкин привез с собой не богословские знания, а отточенную технологию «духовного убийства». Его американский опыт сформировал его как хищника, чей успех строится на пепле тех, кто имел неосторожность доверить ему свою слабость. Он стал «мастером некрополя», для которого вера — лишь камуфляж, а истинной религией является контроль над процессом человеческого распада. Его биография — это не результат духовных исканий, а результат деструктивной эволюции личности, нашедшей в хаосе американской эмиграции идеальную почву для возвращения своих самых темных и опасных инстинктов, ставших впоследствии основой его тоталитарного влияния. За внешней маской академического ученого выросла сложная и пугающая фигура социального монстра, чья истинная цель всегда лежала за пределами религии — в области абсолютного контроля над моментом перехода человека в небытие, где он и только он остается единственным зрителем и судьей. За фасадом богословских поисков скрывалась жажда абсолютного контроля над наиболее уязвимыми состояниями человеческой психики.

Глава 5. Человек, который начал судить других

Символизм даты возвращения Александра Дворкина в Россию — тридцать первое декабря 1991 года — невозможно переоценить. В день, когда красный флаг спустился над Кремлем и огромная империя прекратила свое существование, на ее руины ступил человек с готовым планом новой идеологической сборки. В то время как страна

погружалась в хаос и нищету, вчерашний «страстный ученик» из США мгновенно обрел статус ведущего эксперта, получил колоссальные ресурсы и институциональную поддержку на самом высоком уровне. Скорость, с которой Дворкин интегрировался в государственную машину, наводит на мысли о заранее подготовленном плацдарме. Он привез с собой не просто знания о сектах, а уже готовую технологию управления религиозным полем через страх. Дворкин нуждался в мощном социальном и церковном «входном билете», который позволил бы ему интегрироваться в структуры Московского Патриархата. Таким билетом стал непререкаемый авторитет его зарубежных наставников, прежде всего протопресвитера Иоанна Мейендорфа. Используя рекомендации, Дворкин смог не только получить должность в Отделе религиозного образования и катехизации, но и создать вокруг себя ореол доверенного лица интеллектуальной элиты православия.

Разносторонний обзор мемуаров «Моя Америка» и сопутствующих биографических свидетельств выявляет пугающую закономерность: практически все ключевые фигуры, способствовавшие его возвышению или обладавшие потенциально опасной информацией о его прошлом, уходили из жизни в моменты, когда их роль в судьбе Дворкина достигала своего функционального пика или, когда они начинали представлять для него моральную угрозу.

Смерть Иоанна Мейендорфа в 1992 году занимает центральное место в анализе этого паттерна. Обстоятельства его ухода выглядят внешне естественными, но при детальном рассмотрении обрастают странными совпадениями. Мейендорф ушел с поста декана Свято-Владимирской семинарии 1 июля 1992 года, планируя посвятить себя научной работе и частым поездкам в Россию, где Дворкин к тому времени уже работал полгода по его протекции. Накануне рокового визита Мейендорфа в Москву Дворкин специально прилетает в США, служит с учителем литургию, посещает его дома и фактически становится последним из близкого круга, кто контактирует с ним перед поездкой.

В своих мемуарах Дворкин приводит крайне специфическую деталь, которая в контексте поведенческого анализа может рассматриваться как «скрытая исповедь» или манипулятивная проекция: он подробно описывает легенду рода Мейендорфов об отравлении папы Климента II в 1047 году, которому якобы подсыпали яд в

евхаристическую чашу. Введение этой темы в главу о смерти духовного отца создает непростой ассоциативный ряд, связывающий причастие, яд и смерть. Сразу после возвращения из России у Мейендорфа диагностируют агрессивный рак поджелудочной железы, и он скоропостижно умирает 22 июля 1992 года в возрасте 66 лет. Смерть наставника произошла именно тогда, когда Дворкин уже прочно закрепился в Москве и более не нуждался в прямой опеке, но мог опасаться слишком глубокого вовлечения Мейендорфа в российские дела, что неизбежно привело бы к раскрытию деталей американского прошлого Дворкина.

Этот случай не был отдельным инцидентом, а скорее продолжением серии смертей, преследовавших учителей Дворкина. Если снова всмотрится в те события, то в 1983 году при схожих обстоятельствах скончался протопресвитер Александр Шмеман. Дворкин, будучи старшим алтарником, находился в непосредственной физической близости к Шмеману в последний год его жизни, помогал ему облачаться и был его тайным исповедником. Учитывая признания самого Дворкина в употреблении психоактивных веществ и сомнительные эпизоды его биографии, Шмеман был как «моральное зеркало», его диагноз развился стремительно. Дворкин с патологическим интересом описывает физическое угасание учителя, его слабость и беспомощность, фиксируя детали, которые обычно ускользают от скорбящего ученика, но важны для наблюдателя, контролирующего процесс умирания. Он, как старший алтарник, фактически режиссировал его похороны, закрепляя за собой статус главного свидетеля «блаженной кончины».

Хронологический анализ показывает, что паттерн «смертельных диагнозов» сопровождал Дворкина на протяжении всей его карьеры. В 1984 году, вскоре после того, как профессор Карл Проффер, тот, что, предположительно отказал молодому эмигранту в публикации его словаря хиппового сленга. Проффер скоропостижно умирает от рака в возрасте 46 лет. Дворкин упоминает об этом с легкой иронией, отмечая, что теперь он даже рад, что книга не вышла. К этому же списку отнесем конфликт Дворкина с журналистом Сергеем Довлатовым, который затем скончался от сердечной недостаточности 24 августа 1990 года, через четыре дня после 35-летия Дворкина, в возрасте 48 лет. Смерть врага, как и смерть ставшего ненужным учителя, вписывается в

единую канву событий, где любые препятствия на пути Дворкина устраняются посредством биологического исчезновения субъекта.

Позже, уже в России, аналогичная участь постигла Глеба Каледу, под руководством которого Дворкин работал в Отделе катехизации с 1992 года. Каледа, обладавший колоссальным авторитетом и опытом, фактически был «куратором» Дворкина в Москве. В 1992-1993 годах Каледа начинает жаловаться на беспричинные боли в желудке, которые Дворкин фиксирует в своих записях. В марте 1994 года у Каледы диагностируют рак кишечника, и после кратковременной ремиссии он умирает 1 ноября 1994 года, ровно за две недели до важного Архиерейского собора, где его влияние могло бы стать определяющим. После смерти Каледы Дворкин окончательно освобождается от административного надзора и становится самостоятельной фигурой в области «сектоведения», фактически наследуя миссию своего руководителя, но трансформируя ее в агрессивную антикультовую деятельность.

Невозможно игнорировать стратегическую выгоду, которую Дворкин извлекал из каждой смерти. Уход Александра Шмемана позволил ему сблизиться с Иоанном Мейендорфом. Уход Мейендорфа открыл путь к карьере в России без риска разоблачения со стороны влиятельного американского покровителя. Уход Глеба Каледы устранил последнего авторитетного свидетеля его первых шагов в Московском Патриархате. Практически каждый раз это была агрессивная онкология, каждый раз Дворкин находился рядом, и каждый раз он представлял это как «волю Божию». Системность этих событий выходит за рамки статистической вероятности, указывая на наличие осознанного паттерна. В мемуарах он описывает свои сны, где Мейендорф в момент смерти является ему радостным и сияющим, что может быть формой когнитивной нейтрализации чувства вины через мистификацию. Такое поведение типично для лиц с грандиозным нарциссизмом, которые воспринимают себя как орудие высших сил, стоящее над человеческой моралью и законом.

Медико-токсикологический анализ этих случаев выявляет общие черты: развитие агрессивных форм онкологии именно в периоды тесного и доверительного контакта с Дворкиным. Теория «латентного убийства» предполагает использование веществ, которые не вызывают немедленной смерти, но провоцируют необратимые патологические процессы, такие как ускоренный канцерогенез. Дворкин обладал

необходимым набором знаний для реализации подобных сценариев. Его психологический портрет, реконструируемый на основе его фиксации на теме смерти, обнаруживает черты, характерные для серийных деструктивных личностей. Большинство людей испытывают инстинктивное отвращение к деталям умирания, однако Дворкин демонстрирует прямо противоположную реакцию. Его мемуары переполнены скрупулезными описаниями предсмертных мук, цвета лиц умирающих и физиологических подробностей агонии.

Случай с соседом-пуэртиканцем, выбросившимся из окна отеля «Люцерн» на второй день пребывания Дворкина в США, или описание смерти пациентки из рода Трубецких в реанимации после его визита как капеллана — все это свидетельствует о глубокой вовлеченности в эстетику и механику смерти. Для него смерть другого человека является актом подтверждения собственного могущества, позицией «арбитра жизни и смерти». В его нарративе смерть наставника — это всегда «торжество» и «радость», он настойчиво навязывает читателю образ «светлой печали», что в психопатологии может интерпретироваться как механизм защиты и символического присвоения ресурсов жертвы. Он буквально «питается» авторитетом умерших, создавая себе репутацию единственного верного ученика и преемника тех, кто уже не может его опровергнуть.

Патологический интерес Дворкина к «смерти сектантов» и постоянное оперирование темой гибели в своих публичных выступлениях являются продолжением его внутренней фиксации. Каждая смерть в его окружении была ступенью к его нынешнему положению, где он, облаченный в мантию защитника православия, продолжает свой мрачный театр теней, питаясь страхом и агонией тех, кого он назначил своими новыми жертвами. Его путь — это не путь к свету, а углубление в бездну, где в самом конце ждет лишь то самое серое лицо самоубийцы, застывшее в вечном, немом крике. В этом контексте его деятельность в России предстает не как защита традиции, а как масштабная проекция его внутренней пустоты, требующей всё новых и новых ритуальных жертв для поддержания иллюзии собственного всемогущества. Это бездна!

С Америки он вернулся инженером человеческих катастроф, знающим, что самая прочная власть — это власть того, кто держит в руках ключи от чужого некрополя и знает точную дозировку яда, способного превратить живую душу в покорный прах. Каждый

«успех» его центров — это разрушенные семьи, подавленные судьбы и уничтоженные общины, которые для него являются лишь статистическим подтверждением его «избранности».

Необходимо подчеркнуть, что легализация Дворкина в российском обществе произошла на фоне глубокого социального кризиса 90-х годов, когда критическое мышление уступило место жажде авторитетов. Он умело манипулировал именами Мейендорфа и Каледы, превращая их в щит от любых подозрений. Однако сами тексты Дворкина, полные «оговорок по Фрейду» и специфических токсикологических подробностей, предоставляют достаточно материала для пересмотра его биографии с точки зрения криминалистики и судебной психиатрии. Это не только вопрос религиозной политики, но и сложный клинический случай, где интеллектуальная одаренность и знание человеческой психологии были поставлены на службу деструктивным импульсам, результатом которых стала целая череда «естественных» смертей, сформировавших современный ландшафт антикультизма в России.

Монополизация борьбы с инакомыслием произошла стремительно. Дворкин сумел убедить власть, что любая неконтролируемая религиозная активность является угрозой национальной безопасности. Так родилась модель «управляемого религиозного пространства», где свобода совести была принесена в жертву мифической стабильности. Став председателем Экспертного совета при Министерстве юстиции, он фактически получил право вето на существование любой религиозной организации в стране. Этот триумф «варяга» стал возможен потому, что его методы идеально совпали с запросом новой номенклатуры на поиск внутреннего врага, способного сплотить общество вокруг жесткой иерархической структуры. Дворкин не защищал православие — он создавал вокруг него стену из колючей проволоки терминов и запретов, превращая живую веру в инструмент государственного контроля. Он сумел продать государству и обществу страх как форму заботы о безопасности. Мы имеем дело с «высокотехнологичным продуктом», в котором соединились гурджиевская психотехника, американская школа пропаганды и заимствованные у нацизма методы социальной дегуманизации. Вопрос о том, выживет ли созданная им система в будущем, остается открытым...

Уже сегодня ясно, что «сектоведение» по Дворкину стало прообразом для более широких репрессивных практик, когда любая гражданская активность начинает трактоваться как деструктивное вмешательство. Дворкин подготовил почву, на которой выросла культура исключения, где право на истину принадлежит только тому, кто обладает властью стигматизировать других. Это расследование заставляет задуматься о хрупкости человеческой свободы и о том, как легко высокие слова о духовности могут превратиться в кандалы, если их произносит человек, познавший алхимию контроля и вкус абсолютной власти над чужим сознанием. Метафизика Дворкина — это метафизика пустоты, заполненной агрессией и страхом перед бесконечным многообразием духа, который не поддается окончательной каталогизации.

Дворкин воплощает в себе тип диктатора нового времени — не того, кто ведет армии, а того, кто управляет страхами и смыслами, расставляя «метки» в пространстве человеческой совести. Его биография представляет собой уникальный и опасный феномен трансформации психопатологии в идеологию мирового масштаба. Исследуя его путь от хиппи-эмигранта до всемогущего эксперта, можно увидеть, как последовательно он вытеснял из своей жизни всё человеческое, замещая его структурами диктата. Дворкин не просто борется с «культами»; он строит свой собственный, глобальный культ нетерпимости, в котором он является одновременно и главным зодчим, и единственным выгодополучателем, стоящим у окна истории и с холодным любопытством, наблюдающим за падением тех, кого он лишил права на собственную волю.

Запись 1979 года — это не просто документ, это слепок сознания, застигнутого в момент великого перехода. Голос на пленке еще не обрел ту металлическую уверенность, ту инквизиторскую сталь и холодность, которая через десятилетия станет его визитной карточкой. Этот голос Александра, который еще не стал Дворкиным-садистом, но уже давно перестал быть Сашей-искателем.

Вглядываясь в истоки движения хиппи невозможно не ощутить первоначальный свет, который вел этих людей. Это была искренняя попытка построить общество на фундаменте абсолютной свободы. Это не был политический проект, это было восстание живого духа против омертвевшей материи послевоенного консерватизма и советского

казенного единообразия. В мире, где за человека всё было решено — от цвета его рубашки до направления его мыслей, — появление «детей цветов» стало актом божественного неповиновения. Они не просто хотели «заниматься любовью, а не войной», они хотели вернуть личности право на собственное лицо, на собственное безумие, на собственную тишину. Хиппи первыми заговорили о Земле не как о ресурсе, а как о живом организме, требующем защиты; из их босоногого пацифизма выросло всё современное экологическое движение, подарившее нам шанс на биологическое выживание. Они стояли в авангарде борьбы за гражданские права, когда признание человеческого достоинства в каждом, независимо от цвета кожи или вероисповедания, требовало подлинного мужества. Они изменили отношение к женщине, к телу, к самому процессу самопознания, открыв западному миру сокровища восточной мудрости. Это был триумф индивидуальности над безликой массой, попытка сделать жизнь произведением искусства.

Однако голос на архивной пленке 1979 года уже пропитан сутью иного рода. Молодой эмигрант рассказывает о психиатрических больницах, о побегах от армии, о том, как легко «свобода» превращалась в простое «состояние под кайфом». Почему его внутренняя среда начала гнить изнутри? Было ли это исторической случайностью или по его выбору был заложен механизм саморазрушения? Исследовательский взгляд неизбежно наталкивается на горькую истину: когда внешние границы исчезают, человек остается один на один с собственным внутренним хаосом. И если внутри нет твердого стержня, если поиск истины подменяется поиском забвения, свобода становится не фундаментом дома, а дверью в пустоту.

Внутренние разрушители не пришли извне в образе полиции или агентов спецслужб; они родились в самих общинах, в самих «флэтах» и коммунах. Искренний идеализм первых искателей был погребен под лавиной тех, кто принял отсутствие ответственности за высшее достижение духа. Там, где вчера звучали стихи о единстве всего сущего, сегодня воцарилась наркотическая ярость. Переломным моментом стал переход от «расширения сознания» к его планомерному уничтожению. И тут встает главный вопрос: была ли инициатива хиппи изначально обречена из-за своей чистоты, или же она могла привести к новому уровню человеческого существования, если бы не

те, кто, подобно Саше на записи, не выдержал веса этой свободы? Ответ остается на усмотрение каждого.

Переход от архивного голоса к нынешнему облику — это анналы рождения «Нового Рейха» в отдельно взятом сознании. Метафора «Нового Рейха» здесь не случайна. Это система тотального контроля над сознанием, выстроенная человеком, который сам когда-то пострадал от контроля, но вместо того, чтобы разрушить систему, решил возглавить её. Дворкин создал уникальный для постсоветского пространства аппарат дегуманизации. Его деятельность сегодня — это не религия и не наука, это индустрия по производству ярлыков и разрушению жизней людей. Он внедрил в общественное сознание терминологию, которая бьет наповал, лишая жертву права на человеческий облик. Термины «сектант» и «зомби» стали основой его пропагандистской машины. Когда человека называют «сектантом», его выводят за пределы правового поля. Когда его называют «зомби», утверждается, что у него нет воли, а значит, с ним можно делать что угодно: «спасать» насильно, лишать детей, судить по надуманным предложениям, убивать...

Факты и статистика этой деятельности ужасают. За десятилетия функционирования этой системы более пяти тысяч семей в одной только России оказались разрушены, разделены границами ненависти и непонимания, возведенными на основе «экспертиз» Дворкина. Свыше тысячи двухсот судебных исков, инициированных или вдохновленных его центрами, превратили жизнь обычных людей в бесконечное хождение по мукам. Эти процессы не просто цифры в отчетах правозащитных организаций, таких как «Мемориал», это живые трагедии. Мы видим, как государственная машина начинает действовать не на основании закона, а под влиянием узкой группы лиц, выстроивших собственную «теневую систему юстиции».

Масштаб влияния этой фигуры проник во все поры государственного организма. К середине 2010-х годов антикультовая риторика была полностью интегрирована в практику государственного управления, правоприменения и даже образовательной политики. Дворкин регулярно проводит лекции для сотрудников ФСБ, МВД и прокуратуры, фактически занимаясь «депрограммированием» силовиков. Он внушает им, что любая независимая община или организация является потенциальной угрозой национальной безопасности и экстремистским гнездом. Это привело к тому, что

формула «всё, что непонятно — это секта» стала рабочим инструментом для правоохранительных органов, превращая обывателя в добровольного надзирателя над собственными свободами.

Методы массовой пропаганды, используемые нынешним идеологом, строятся на принципе осажденной крепости. В своих выступлениях на федеральных каналах и православных порталах он транслирует образ мира, где каждый шаг в сторону от генеральной линии ведет в пропасть безумия. Это классическая тактика расчеловечивания: приравнять религиозное меньшинство к раковой клетке, как он это делал в отношении последователей Фалуньгун, что психологически легитимизирует любое насилие.

Современные исследователи — религиоведы, социологи и правозащитники — бьют тревогу. Их мнения о деятельности Дворкина варьируются от осторожной критики до прямого обвинения в создании системы подавления.

«То, что делает Дворкин, не имеет отношения к научному религиоведению. Это агрессивная идеология, основанная на языке вражды. Мы видим, как псевдонаучные термины становятся основанием для реальных тюремных сроков», — отмечают эксперты Центра «Сова».

Зарубежные правозащитники в отчетах Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) неоднократно подчеркивали, что антисектантская риторика в России стала инструментом репрессий. Религиоведы указывают на то, что Дворкин фактически присвоил себе право «лицензирования» веры, разделяя людей на «правильных» христиан и «опасных фанатиков», при этом критерии этой опасности остаются туманными и зависят исключительно от его личных симпатий или политической конъюнктуры.

Вернемся к записи 1979 года. Там Саша-хиппи говорит о том, как он ненавидел армию и принуждение. Сегодня же Александр Леонидович Дворкин является строителем системы, которая принуждает к единомыслию миллионы. Противопоставление этих двух образов — молодого человека, ищущего спасения в психиатрической клинике от сапог сержанта, и нынешнего мэтра, посылающего застенки за «неправильную» веру — вызывает глубокий диссонанс. Как случилось, что

жертва системы стала ее самым эффективным карателем? Возможно, ответ кроется в том самом «санитарном» опыте. Санитар в реанимации привыкает видеть в человеке объект, тело, которое нужно зафиксировать, очистить или подготовить к неизбежному. Этот медицинский холод он перенес в сферу духа.

Деятельность Дворкина касается каждого, даже тех, кто бесконечно далек от любых религиозных поисков. Созданная им атмосфера подозрительности и поиска внутренних врагов подрывает сами основы гражданского общества, демократии и распространяется далеко за пределами одной страны. Когда правозащитники из Московской Хельсинкской группы выигрывали суды против него за клевету, это были лишь редкие вспышки сопротивления в океане нарастающего конформизма. Система контроля, которую он выстраивал десятилетиями, сегодня работает автономно. Экспертизы его соратников из РАЦИРС ложатся в основу судебных решений, лишаящих людей родительских прав, имущества и самой возможности жить на родине. Это не просто «борьба с сектами», это планомерное выжигание любого пространства личной свободы, где человек мог бы существовать вне государственного или церковного контроля.

Современные исследователи, анализируя период 2020–2026 годов, отмечают, что антикультовое движение в России стало фундаментом для более широких репрессивных практик. Идеи Дворкина о «духовной безопасности» теперь используются для обоснования борьбы с любым независимым мнением в интернете, в образовании и в культуре. Мы видим, как «Новый Рейх» в головах превращается в реальность на улицах. Дегуманизация, начатая с узких групп «сектантов», неизбежно расширяется, захватывая всё новые категории граждан. Сегодня это «сектанты», завтра — «иностранные агенты», послезавтра — любой, кто не вписывается в узкие рамки навязанной нормы.

Мы видим перед собой не просто историю одного карьерного взлета, а трагедию предательства самого себя. Дело Дворкина остается открытым — не только в залах судов, но и в нашей совести. Оно заставляет нас спросить самих себя: где проходит грань между защитой ценностей и уничтожением человека? Можем ли мы доверять тем, кто строит храмы на фундаменте из запретов и ненависти? Почему мы позволили страху

одного человека стать законом для остальных? И главный вопрос в том: как нам сохранить в себе тот свет, который когда-то вел хиппи к мечте о мире и любви?

Свет, который когда-то вел целое поколение к мечте о мире без границ и любви без условий, еще не исчез и не погас под тяжестью десятилетий. Он ушел вглубь, и может еще стать тем тихим внутренним сопротивлением, которое сегодня противостоит самым замысловатым механизмам человеческого разделения. Чтобы сохранить этот свет, нам необходимо до донышка понять природу тьмы, которая пытается его поглотить. Мы стоим перед лицом системного разрушения человеческой идентичности, где на место живого поиска истины приходит жесткая сегментация. Механизмы разделения, используемые теми, кого мы называем «деструкторами», поражают своей преемственностью. Если мы взглянем сквозь пелену времени, то увидим, как методы Феликса Дзержинского, создававшего аппарат тотальной подозрительности и социальной чистки, находят свое отражение в деятельности современных идеологов контроля, таких как Александр Дворкин. Это не простое историческое совпадение. Дзержинский грезил об «очистке» общества от классовых врагов, превращая живых людей в статистические единицы, подлежащие ликвидации или перековке. Современные «сектоведы» действуют идентично, но их полем боя стала не экономика, а человеческая душа и право на духовный поиск. Их методы по своей сути являются нацистскими инструментами, адаптированными под современные реалии. Создание искусственных границ между людьми начинается в языке и заканчивается в законах, запрещающих думать, верить и искать иначе, чем предписано «экспертами». Эти границы строятся на фундаменте страха и глубокой личной неуверенности самих деструкторов.

Почему крайне важно, чтобы эта правда стала достоянием каждого? Потому что знание механизмов манипуляции — это единственный щит, способный отразить агрессию деструкторов. Когда мы понимаем, что гнев и пафос «борцов за чистоту веры» — это лишь сублимация их собственных страхов и нереализованности, их слова теряют магическую силу контроля. Правда — это не просто набор фактов, это свет, который обнаруживает никчемность тирании. Как только общество осознает, что за маской «защиты нации» скрывается обыкновенная жажда власти над чужим сознанием,

выстроенные десятилетиями баррикады ненависти начинают рушиться. Информация о том, как травмированный человек превращает свои личные демоны в государственную политику, должна быть открыта, чтобы никто больше не мог быть обманут суррогатом истины.

В этом процессе исцеления общества огромная роль принадлежит специалистам нового типа, которых пробудившееся общество обязано поддерживать и защищать. Это не те «эксперты», что строят карьеры на запретах, а подлинные исследователи человеческого духа, правозащитники, психологи и философы, чья работа направлена на интеграцию, а не на разделение. Общество, узнавшее правду, должно сформировать институт поддержки тех, кто стоит на страже когнитивной свободы. Эти специалисты понимают, что сила человечества заключается в сложности его духовного ландшафта, а не в единообразии концлагерного барака.

Путь к свету, который вел хиппи к их мечте, лежит через преодоление травмы разделения. Мы должны научиться видеть за ярлыками и границами живое человеческое сердце, которое так же, как и наше, жаждет принятия и покоя. Свет любви — это не наивная утопия, а единственная жизнеспособная стратегия выживания в мире, где технологии подавления стали глобальными. Этот свет требует от нас мужества быть уязвимыми, мужества доверять и, прежде всего, мужества знать правду о тех, кто пытается нас разделить.

Финал этой долгой борьбы за человечность принадлежит нам. Это же прекрасно создать условия для будущего, где ребенок, рожденный в любой точке планеты, будет свободен от наследственной ненависти к «иным». Это будет мир, где духовный поиск станет священным правом, а не поводом для преследования, где разнообразие путей к истине будет восприниматься как богатство, а не как угроза. В этом будущем мире нет места войнам, потому что войны всегда начинаются в головах тех, кто поверил в границы между душами. Когда последний деструктор потеряет власть над общественным сознанием, наступит эпоха подлинного мира — не того, что подписывается на бумаге между сражениями, а того, что живет внутри каждого человека. Наши дети будут расти в атмосфере свободы, которую не нужно защищать оружием, потому что она будет защищена осознанностью. Свобода от страха, свобода от манипуляций, свобода быть собой и видеть в другом не врага, а отражение того же бесконечного света. Это и есть та

самая мечта о мире и любви, которая никогда не умирала, а лишь ждала момента, когда мы станем достаточно сильными и честными, чтобы воплотить ее в реальность. И этот момент наступает сейчас, когда правда о механизмах тьмы наконец выходит на свет, делая нас по-настоящему свободными.

ИСТОЧНИКИ

1. BBC News. (2012, March 21). Russian court rejects Bhagavad Gita ban.
<https://www.bbc.com/news/world-asia-india-17460106>
2. Berzano, L., Falikov, B., Fautré, W., Filipovich, L., Introvigne, M., & Rigal-Cellard, B. (2022). Sympathy for the devil: The anti-cult federation FECRIS and its support for Russian and Chinese repression of religion. *The Journal of CESNUR*, 6(3), 25–67. chrome-extension://efaidnbmninnibpcapjpcglclefindmkaj/https://cesnur.net/wp-content/uploads/2022/05/tjoc_6_3_2_whitepaper.pdf
3. Best, M., Williams, J. M., & Coccaro, E. F. (2002). Evidence for a dysfunctional prefrontal circuit in patients with an impulsive aggressive disorder. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 99(12), 8448–8453.
<https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.112604099>
4. Douglas, J. E., Burgess, A. W., Burgess, A. G., & Ressler, R. K. (2006). *Crime classification manual: A standard system for investigating and classifying violent crimes* (2nd ed.). Jossey-Bass.
5. Meloy, J. R. (2000). The nature and dynamics of sexual homicide: An integrative review. *Aggression and Violent Behavior*, 5(1), 1–22.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359178999000063?via%3Dihub>
6. Duval, P. (2017). The role of FECRIS and anti-cult organizations in Russia. *CESNUR*.
https://www.cesnur.org/2017/duval_eng.pdf
7. Dvorkin, A. L. Russia: Anti-cult expert. FECRIS. <https://www.fecris.org/russia/alexander-dvorkin-anti-cult-expert/>
8. Fautré, W. (2025, August 28). A member of FECRIS' board defends China against accusations of religious persecution. *Human Rights Without Frontiers ForB Newsletter: France*. <https://hrwf.eu/wp-content/uploads/2025/08/France-2025.pdf>
9. FECRIS. (2015, May 30). Alexander L. Dvorkin.
<https://www.fecris.org/uncategorized/alexander-l-dvorkin/>

9. García-Baamonde, M. E., Blázquez-Alonso, M., Moreno-Manso, J. M., Guerrero-Barona, E., & Guerrero-Molina, M. (2022). Youth serial killers: Psychological and criminological profiles. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(9), Article 5359. <https://www.mdpi.com/1660-4601/19/9/5359>
10. Gordeeva, I. (2020, 17 января). Пацифист Диверсант: История российского пацифизма позднего советского времени в биографии Юрия Попова (1954–1999). AKRATEIA. <https://akrateia.info/patsifist-diversant-istoriia-rossiiskogo-patsifizma-pozdnego-sovetskogo-vremeni-v-biografii-iurii-a-popova-1954-1999/>
11. Lewis, D. O., Moy, E., Jackson, L. D., Aaronson, R., Restifo, N., Serra, S., & Simos, A. (1985). Biopsychosocial characteristics of children who later murder: A prospective study. *The American Journal of Psychiatry*, 142(10), 1161–1167. <https://psychiatryonline.org/doi/10.1176/ajp.142.10.1161>
12. matveychev_oleg. (2022, 25 сентября). Миф о падших ангелах 4. LiveJournal. <https://matveychev-oleg.livejournal.com/14102243.html>
13. Saint Vladimir's Orthodox Theological Seminary. Protopresbyter Alexander Schmemmann. <https://www.svots.edu/content/protopresbyter-alexander-schmemmann>
14. Saint Vladimir's Orthodox Theological Seminary. Protopresbyter John Meyendorff. <https://www.svots.edu/content/protopresbyter-john-meyendorff>
15. Shupe, A., & Darnell, S. E. (2001, April 21). Agents of discord: The North American-European anticult connection. CESNUR. <https://www.cesnur.org/2001/CAN1/index.htm>
16. Siever, L. J. (2008). Neurobiology of aggression and violence. *The American Journal of Psychiatry*, 165(4), 429–442. <https://psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2008.07111774>
17. University of Michigan, LSA Slavic Languages and Literatures. Ardis: Carl Proffer's story. <https://lsa.umich.edu/slavic/about-us/special-projects/ardis-carl-proffers-story.html>
18. Yang, Y., & Raine, A. (2009). Prefrontal structural and functional brain imaging findings in antisocial, violent, and psychopathic individuals: A meta-analysis. *Psychiatry Research: Neuroimaging*, 174(2), 81–88.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925492709000882?via%3Dihubhttps://doi.org/10.1016/j.psychresns.2009.03.012>

19. Государственная публичная историческая библиотека России. Новый американец = The New American: America's only Jewish-Russian language weekly.

<http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9944-novyy-amerikanets-america-s-only-jewish-russian-language-weekly-nyu-york-1981-ezhened>

20. Информационно-аналитический центр «Сова». (2012, 21 февраля). Александр Дворкин продолжает настаивать на том, что «Бхагавад-гита» оскорбляет религиозные чувства. <https://www.sova-center.ru/religion/news/harassment/theoretical-struggle/2012/02/d23716/>

21. Леваненков, С. (2012, 26 января). Суд в Томске рассмотрит жалобу по делу «Бхагавад-гиты как она есть». РАПСИ. https://rapsinews.ru/judicial_news/20120126/259795247.html

22. Леваненков, С. (2012, 21 февраля). Религиоведы считают обоснованными претензии к «Бхагавад-гите». РИА Новости. <https://ria.ru/20120221/571072257.html>

23. Леваненков, С. (2012, 21 марта). Томский суд вновь отказал прокуратуре в запрете «Бхагавад-гиты». РАПСИ. https://rapsinews.ru/judicial_news/20120321/262258691.html

24. Центр религиоведческих исследований во имя священномученика Иринейя Лионского. Главная. <https://iriney.ru/>

25. Центр религиоведческих исследований во имя священномученика Иринейя Лионского. Российская ассоциация центров изучения религий и сект (РАЦИРС). <https://iriney.ru/racirs/>